
НИКОЛАЙ ЛЕСКОВ

ПРЕКРАСНАЯ

АЗА



Николай Семёнович Лесков
Татьяна Соколова
Прекрасная Аза
Серия «Библиотека духовной прозы»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=54142569

*Прекрасная Аза:
ISBN 978-5-7533-1352-2*

Аннотация

В 1880-х – самом начале 1890-х гг. Лесков работал над циклом легенд о ранних христианах Египта и Ближнего Востока. По сути, труд его явился художественным переложением пролога – сборника житий святых, составленного в Византии в X–XI вв. Эти легенды и вошли в настоящее издание.

Содержание

Два завета	7
Брамадата и Радован	15
Глава первая	15
Глава вторая	19
Глава третья	21
Глава четвертая	23
Глава пятая	27
Глава шестая	30
Глава седьмая	33
Глава восьмая	35
Сказание о Федоре-христианине и о друге его	37
Абраме-жидовине	
Глава первая	37
Глава вторая	39
Глава третья	41
Глава четвертая	43
Глава пятая	48
Глава шестая	50
Глава седьмая	53
Глава восьмая	56
Глава девятая	59
Глава десятая	64
Глава одиннадцатая	67

Глава двенадцатая	69
Глава тринадцатая	72
Глава четырнадцатая	74
Глава пятнадцатая	76
Глава шестнадцатая	78
Скоморох Памфалон	81
Глава первая	81
Глава вторая	83
Глава третья	85
Глава четвертая	87
Глава пятая	91
Глава шестая	94
Глава седьмая	97
Глава восьмая	102
Глава девятая	105
Глава десятая	111
Глава одиннадцатая	123
Глава двенадцатая	127
Глава тринадцатая	132
Глава четырнадцатая	137
Глава пятнадцатая	139
Глава шестнадцатая	142
Глава семнадцатая	144
Глава восемнадцатая	147
Глава девятнадцатая	151
Глава двадцатая	155

Глава двадцать первая	157
Глава двадцать вторая	160
Глава двадцать третья	161
Глава двадцать четвертая	163
Глава двадцать пятая	165
Глава двадцать шестая	167
Глава двадцать седьмая	170
Глава двадцать восьмая	173
Глава двадцать девятая	175
Конец ознакомительного фрагмента.	177

Николай Лесков

Прекрасная Аза

© Сретенский монастырь, 2017

Два завета

О русском писателе

Николае Семеновиче Лескове

Год 1836-й. Орел.

Из завещания Семена Лескова сыну Николаю:

«Любезный мой сын и друг! Николай Семенович! В дополнение завещания моего, оставленного твоей матери, достойной всякого уважения по личным ее, мне более известным преимуществам, оставляя сей суетный свет, я рассудил впоследствии побеседовать с тобою как с таким существом, которое в настоящие минуты более прочих занимало мои помышления. Итак, выслушай меня и, что скажу, исполни:

...Ни для чего в свете не изменяй вере отцов твоих.

...Уважай от всей души твою мать до ее гроба.

...Люби вообще всех твоих ближних, никем не пренебрегай, не издевайся...

...Более всего будь честным человеком, не превозносись в благоприятных и не упадай в противных обстоятельствах.

...Будь признателен ко всем твоим благотворителям. Черта сия сколько похвальна, столько ж и полезна.

<...> Я хотел бы излить в тебя всю мою душу, но довольно, моя минута приближается. Остальное предпишет тебе твоя мать и собственное твое

благоразумие... Бог тебе на помощь!

Отец твой Семен Лесков».

Слова эти обратил к трехлетнему Николаю выходец из духовной среды Семен Дмитриевич Лесков. Сын и внук русских священников, выпускник семинарии, он не пошел по духовной стезе, избрал гражданское служение, но веровал в Бога крепко, подолгу, как писал наследник его, Николай, «маливался ночью перед греческого письма иконою Спаса Нерукотворенного». Равно и мать, Мария Петровна (урожденная Алферьева), была религиозна: читала дома акафисты, каждое первое число месяца заказывала молебны, приучая к тому сына. Николай с благодарностью вспоминал и другого своего наставника веры – орловского священника Остроградского – превосходного христианина, друга отца и друга всех его детей, «которых он мог научить любить правду и милосердие».

Шестнадцати лет от роду, не доучившись в гимназии, Николай Лесков остался сиротой – от холеры умер отец. Пришлось зарабатывать на жизнь: сначала – помощником столоначальника в Орловской палате уголовного суда, затем – в Киевской казенной палате и наконец – в компании мужа своей тетки А. Я Шкотта (Скотта) «Шкот и Вилькенс». Последнее место оказалось самым благотворным для молодого человека. «...Это самые лучшие годы моей жизни, когда я много видел и жил легко», – писал впоследствии Николай Семенович. «Я... думаю, что я знаю русского человека

в самую его глубь, и не ставлю себе этого ни в какую заслугу, – утверждал Лесков. – Я не изучал народа по разговорам с петербургскими извозчиками, а я вырос в народе, на гостомельском выгоне, с казанком в руке, я спал с ним на росистой траве ночного, под теплым овчинным тулупом, да на замашной панинской толчее за кругами пыльных замашек...»

В начале 1860-х Лесков с семьей перебрался в Санкт-Петербург, стал сотрудничать со столичными газетами и журналами, более всего – с «Отечественными записками» и «Северной пчелой», и с этих пор идет отсчет его писательской деятельности. Одно за другим в печати появляются повести и рассказы Лескова. Правда, поначалу печатался он под псевдонимами, а их – множество: М. Стебницкий, Фрейшиц, В. Пересветов, Николай Понукалов, Николай Горохов, Кто-то, Дм. М-ев, Н., Член общества, Псаломщик, Свящ. П. Касторский, Б. Протозанов, Любитель старины, Проезжий, Любитель часов. Среди наиболее заметных, знаковых произведений той поры – «Житие одной бабы» (1863), «Леди Макбет Мценского уезда» (1864), «Воительница» (1866). В 1872-м выходят «Запечатленный ангел» – о чуде, приведшем раскольников в православие, – и «Очарованный странник» с его удивительным героем – монахом-паломником Иваном Северьяновичем Флягиным. Лесковский странник не просто полюбился читателям, он покорила сердца русских людей, воскресил в их душах былинный образ Ильи Муромца. Интересное свидетельство оставил писатель Иероним Ясинский:

«Когда-то в киевский Владимирский собор, где работали художники во главе с Виктором Васнецовым, я принес книжечку с "Очарованным странником", и на два дня прекратились все работы. Жадно схватилась художественная братия за книгу и не могла оторваться от нее. Приехал митрополит Флавиан [Городецкий] взглянуть, как идут работы, а ему объяснили, почему они приостановились. Он покачал головой, взял книжечку с собою, и потом [искусствовед] Прахов рассказывал, что и он два дня не мог оторваться».

В 1872-м на страницах «Русского вестника» печатается роман «Соборяне». С этого времени основными героями произведений Лескова становятся представители духовенства, «литературное творчество Лескова... становится яркой живописью или, скорее, иконописью, – он начинает создавать для России иконостас ее святых и праведников» (М. Горький).

«Праведники» – такое обобщающее название дал Лесков своему сборнику, вобравшему рассказы о простых людях праведной жизни, коим нет числа на Святой Руси. Как писал один из критиков, всех их объединяет «прямотушие, бесстрашие, обостренная совестливость, неспособность примириться со злом». Да и сам Лесков не раз подчеркивал, что его задача – бичевать зло на земле, ибо «общество более всего нуждается в оздоровлении его духа, и это зависит менее от власти, чем от нас».

В 1881 году Лесков составил и опубликовал «Избор-

ник отеческих мнений о важности Священного Писания». В 1880-х – самом начале 1890-х годов работал над циклом легенд о ранних христианах Египта и Ближнего Востока. По сути, труд его явился художественным переложением пролога – сборника житий святых, составленного в Византии в X–XI веках (эти легенды и вошли в наш сборник).

Очень многие восхищались словесной вязью Лескова, очень многие порицали его, укоряя за неумную фантазию, нарочитость. Николай Семенович отвечал не в меру ретивым критикам: «Постановка голоса у писателя заключается в умении овладеть голосом и языком своего героя... В себе я старался развить это умение и достиг, кажется, того, что мои священники говорят по-духовному, нигилисты – по-нигилистически, мужики – по-мужицки, выскочки из них и скомоорохи – с выкрутасами и т. д. От себя самого я говорю языком старинных сказок и церковно-народным в чисто литературной речи. Меня сейчас поэтому и узнаешь в каждой статье, хотя бы я и не подписывался под ней. Это меня радует. Говорят, что меня читать весело. Это оттого, что все мы: и мои герои, и сам я, имеем свой собственный голос. Он поставлен в каждом из нас правильно или, по крайней мере, старательно. Когда я пишу, я боюсь сбиться: поэтому мои мещане говорят по-мещански, а шепеляво-картавые аристократы – по-своему. Вот это – постановка дарования в писателе. А разработка его не только дело таланта, но и огромного труда. Человек живет словами, и надо знать, в какие моменты

психологической жизни у кого из нас какие найдутся слова. Изучить речи каждого представителя многочисленных социальных и личных положений довольно трудно. Вот этот народный, вульгарный и вычурный язык, которым написаны многие страницы моих работ, сочинен не мною, а подслушан у мужика, у полуинтеллигента, у краснобаев, у юродивых и святош». Этот наказ стал определяющим в творчестве многих-многих писателей – последователей Лескова.

Год 1892-й. Санкт-Петербург

«Моя посмертная просьба» (из завещания-распоряжения Николая Лескова)

«...Погребсти тело мое самым скромным и дешевым порядком... по самому низшему, последнему разряду.

...На похоронах моих прошу никаких речей не говорить. Я знаю, что во мне было очень много дурного и что я никаких похвал и сожалений не заслуживаю. Кто захочет порицать меня, тот должен знать, что я и сам себя порицал. <...>

Места погребения для себя не выбираю, так как это в моих глазах безразлично, но прошу никого и никогда не ставить на моей могиле никакого иного памятника, кроме обыкновенного, простого деревянного креста. Если крест этот обветшает и найдется человек, который захочет заменить его новым, пусть он это сделает и примет мою признательность за память. Если же такого доброхота не будет, значит, и прошло время помнить о моей могиле.

...Прошу... прощения у всех, кого я оскорбил,

огорчил или кому был неприятен, и сам от всей души прощаю всем все, что ими сделано мне неприятного, по недостатку любви или по убеждению, что оказанием вреда мне была приносима служба Богу, в Коего и я верю и Которому я старался служить в духе и истине, поборая в себе страх перед людьми и укрепляя себя любовью по слову Господа моего Иисуса Христа.

Николай Лесков».

Задолго до смерти, в 1877-м, в этюде «Карикатурный идеал» Лесков писал: «...Скромному и истинно святому чувству нашего народа глубоко противно кичливое стремление к надмогильной монументальности с дутыми эпитафиями, всегда более или менее неудачными и неприятными для христианского чувства. Если такая претенциозность и встречается у простолюдинов, то это встречается как чужеземный нанос – как порча, пробирающаяся в наш народ с Запада, – преимущественно от немцев, которые любят ”возводить“ ”монументы и высекать на них широковещательные надписи о деяниях и заслугах покойника. Наш же русский памятник, если то кому угодно знать, – это дубовый крест с голубцом – и более ничего. Крест ставился на могиле в знак того, что здесь погребен христианин; а о делах его и значении не считают нужным писать и возвещать, потому что все наши дела – тлен и суета. Вот почему многих и самых богатых и почетных в своем кругу русских простолюдинов камнями не пресуют, а ”означают“, – заметьте, не украшают, а только ”означают“ крестом. А где от этого отступают, там, значит, отсту-

пают уже от своего доброго родительского обычая, о котором весьма позволительно пожалеть».

«Все чувствую, как будто ухожу...» – признается Николай Семенович в одном из последних своих писем. Его не оставляет вера в то, что «совершится над всяким усопшим суд нелицеприятный и праведный, по такой высокой правде, о которой мы при здешнем разуме понятия не имеем».

Лесков умер в 1895-м, шестидесяти двух лет от роду, от застарелой астмы и похоронен на Литераторских мостках Волкова кладбища в Петербурге. На могиле его – простой каменный крест, имя и две даты: рождения и смерти. А между ними – огромная жизнь по отчему завещанию и собственному разумению во исполнение раз данного отцовского завета...

Пройдут годы, и литературный критик князь Д. П. Святополк-Мирский скажет проникновенно и просто: «Лескова русские люди признают самым русским из русских писателей и который всех глубже и шире знал русский народ таким, каков он есть». А Максим Горький, осмысливая жизненный подвиг Лескова, подведет черту: он «пронзил всю Русь».

Татьяна Соколова

Брамадата и Радован

Глава первая

В очень давнее время в Индии были два смежные царства: одно называлось Бенарес, а другое царство Казальское. В одном из них, в Бенаресе, правил царь по имени Брамадата, а в другом, в Казальском царстве – Радован. Они были между собою несогласные и постоянно не ладили оттого, что у них были разные характеры и понятия, и во всем они хотели все разного. Брамадата, бенаресский царь, был большой воин и хотел, куда ни придет, чтобы всех сейчас побить или в плен угнать; а Радован терпеть не мог воевать, а все заботился, чтобы у него в земле была тишина и чтобы люди никто один другого не обижали, а все бы в ровнях трудились и имели себе пищу и одежду, а на чужое добро не завидовали и ничего чужого себе не брали.

От этого разного расположения царей и во дворах у них, и во всем подданстве все шло по-разному.

У Брамадаты была тогда радость, если он кого-нибудь побьет и чужое добро возьмет, а Радован тогда был утешен, если у него все было тихо и все люди трудятся и живут средственно, а не стараются превзойти один другого обманом или опутать ложью и хитростью. И как у храброго Брамада-

ты, так и у хозяйственного Радована не все всегда ладилось.

Радовановы люди наскучили миром и тишиною, и стали они говорить:

– Что нам из того, что нам тихо и покойно жить в тишине. Ноне тихо и завтра опять тоже тихо – оно уже и наскучило, и куда мы за свой рубеж ни пойдём, за каким ни случись делом, нам от соседей такого почёта нет, как людям из храброго царства Брамадатова. Так нам жить хоть и сытно и привольно, да обидно и не весело.

И докучали этим ропотом люди царю Радовану очень много лет и заставили его претерпеть много горестей оттого, что люди его не понимали пользы мирного житья и завидовали бранному шуму и славе воительской.

А у Брамадаты-царя люди в царстве его на войну обижались и роптали так:

– Что нам за польза от наших воинских доблестей. Что ни больше натащили себе серебра или золота – то все у нас только дороже становится, и некому даже ни пахать, ни рис убирать, ни скот пасти. Одни перебиты, а другие вернутся такими калеками, что, глядя на них, только казнишься. Лучше б нам тихо жить по-соседски со всеми и ни с кем бы не ссориться.

Услыхал бенаресский царь, непобедимый Брамадата, что его храбрые воины, у которых в костях ноет, не веселятся от своей прошлой храбрости, а завидуют тем, что век в тиши прожили, и разгневался, и велел созывальщику взять боль-

шой барабан и ходить над рекою да стучать во всю мочь, чтобы был слышен шум по воде далеко во всем его царстве, и послал здоровых крикунов верхом на слонах, чтобы они на слонах в самую середину народа въезжали и кричали военный клич всем людям, кто хочет идти на свирепых соседей, и все их добро забрать и между собою поделить, а их земли под одну державу Брамадаты подбить и обложить их тяжкою податью. И как услышали этот клич в Брамадатином царстве здоровые люди – все не стали слушать своих стариков, которые тяготились военным житьем, а схватили луки и стрелы, взяли щиты и, опоясавшись в латы, пошли воевать своих свирепых соседей, и скоро все царство Радована-царя покорили; тех, которые хотели сражаться, побили или покалечили, а самому Радовану хотели назад руки связать и вести его на веревке за Брамадатой-царем, когда он будет возвращаться назад с победными войсками в свою столицу. Но смиренный казалский царь Радован все свои потери перенес с терпением, а не мог вздумать о том, как его будут на веревке вести и тогда над ним станут смеяться и победители его, и его бывшие подданные, которые теперь отступили от своего смиренного обычая и предались победным торжествам Брамадаты, царя бенаресского. И чтобы не переносить этого унижения, сказал Радован царице, жене своей: «Сбрось с себя поскорее свое царское платье, которое на тебе осталось, и отдай его нищенке, а у ней возьми ее бедное платье, и я то же самое сделаю и, покрывшись лохмотьями, убежим потихоньку

и скроемся в такое место, где нас никто не вздумает разыскивать, и будем там жить до веку, или пока в судьбе нашей перемена наступит».

Глава вторая

Жена Радована на все согласилась, и обменяли они свои последние царские платья с нищими и бежали темною ночью из своей Казалы, стали скрываться в лесах и пустынях. Но туда скоро до них дошел слух, что царь Брамадата, узнавши об их побеге, страшно разгневался и показнил много и своих людей, и их бывших подданных за то, что они упустили Радована с его женою, царицею Рупти, и Брамадате некого стало вести за собою на веревке, когда он будет входить в свой Бенарес победителем под знаменами. А потом велел Брамадата опять бить в барабан над рекою и кликать на все царство, что кто из своих или чужих людей укажет, где скрываются Радован с его царицею Рупти, тому будут от царя Брамадаты большие дары царские, и повезут этого указчика, в знак почета, на убранном слоне вслед за связанным Радованом и за его Рупти-царицею и напишут его имя острым клином на камне в память внукам и правнукам.

И как узнал об этом царь Радован, то затрясся от страха и жалости, что из-за него очень много людей погублено, и сказал он тогда Рупти-царице:

— Кажется, плохо мы сделали, что скрылися, и через это много напрасно людей уже погибло, а к тому же нам с тобою не укрыться теперь и в рубище: кто-нибудь нас узнает и царю Брамадате укажет нас. Большие дары соблазнительны да и

почести взманчивы – я ни на кого уже из своих былых слуг не надеюсь. А не лучше ли нам пойти и самим объявиться? Как ты думаешь?

А царица Рупти отговорила мужа, чтобы он не шел объявляться Брамадате, а посоветовала ему скрыться на иной манер: не в лесных дебрях и пустынях, а идти прямо в столицу бенаресского царства и жить там среди низких людей в безызвестности, так как там их никто искать не подумает и им там будет жить безопасно.

Царь Радован послушал совета жены, и они пошли в Бенарес нищими и пришли туда никем не признанные и поселились между самыми простыми работниками, которые жили поденною работою. И тут царица Рупти, у которой до сей поры детей не было, ощутила у себя под сердцем биение новой жизни и родила прекрасного мальчика и назвала его Долгоживом.

Так ей это имя на мысль пришло, что отец-де его долго скорбел, а он пусть долго жить будет и за наши бедствия с врагом нашим Брамадатой расплатится.

И прожили Радован с Рупти и с сыном своим Долгоживом в столице бенаресского царства у Брамадаты-царя в неизвестности целых десять лет между простыми рабочими в больших трудах, и изменились родители Долгожива так, что походили на свой прежний вид не более, как похожа сенная былинка на сочную траву, а все от своей судьбы не укрылись.

Глава третья

Тащил раз на себе бывший царь Радован тяжелую ношу и устал под нею до смерти и захотел в реке выкупаться. И только что снял с себя лохмоток, которым был повязан по поясу, да хотел в воду влезть, как увидел его гулявший у себя в саду богач, который был у него раньше разгрома Казальского царства постельником, и узнал у него на бедре родимый знак – пятно темного цвета, точно малая пташка с головкой, загнутой под крылышко. И сейчас захотел тот вельможа предать своего бывшего царя казальского новому своему повелителю, царю бенаресскому, и указал на него воинам, а воины взяли Радована и жену его и привели их к Брамадате-царю. Долгожива же не взяли, потому что его в ту пору в доме при родителях не было, да и вины на нем никакой Брамадата-царь не взыскивал.

А Радована и жену его Рупти царь Брамадата повелел водить связанных по всей своей столице, пока обведут их по всем улицам и закоулочкам и увидят их все живущие в Бенаресе, и свои, и заезжие, а потом вывести их за город на пыльное поле и рассечь мечом каждого напополам и начетверо.

Так и водили Радована и жену его Рупти, а сын их Долгожив во все это время шел за ними и плакал, а когда после показа их всем людям привели Радована и Рупти на пыльное поле за город и стали готовиться рассечь их каждого попо-

лам и начетверо, то Долгожив попросил, чтобы ему позволили подойти к отцу и принять от него на всю жизнь свою отцовское наставление.

Спросили об этом дозволения у царя Брамадаты, и Брамадата дозволил дать отцу с сыном свидание, но велел только доложить ему, что такое Радован даст своему сыну в заповедь, чтобы знать потом, можно ли от Долгожива ждать худого или хорошего.

Воспоследовало с таким разрешением свидание, и подпустили мальчика Долгожива к отцу его Радовану, а тот не стал перед сыном ни сожалеть о жизни, ни на свою долю плакаться, а сказал ему только те слова:

– Сын мой Долгожив, не смотри слишком далеко и не смотри слишком близко и помни, что вражда умирается не враждою, а незлобием.

А больше Радован ничего и говорить не захотел, и тогда тотчас же над ним и над женою его Рупти был приведен в исполнение приговор Брамадаты. Бывшего царя казальского и жену его повергли связанных на землю и рассекли мечами сначала каждого на полы, а потом и начетверо, и бросили их в горячей пыли и приставили стражу к их рассеченным телам, чтобы оставались здесь без всякого погребения, дабы знали все, как бывает с теми, кто Брамадате-царю не покорствует.

Глава четвертая

Отрок Долгожив выросстал между простых людей и знал, как с людьми обходиться надобно, чтобы достичь чего хочется, а хотелось ему больше всего, чтобы рассеченные тела его несчастных родителей не валялись в пыли, пока их мясо птицы облущат, а кости ветер обдует; а захотел Долгожив сжечь тело отца с матерью на костре, как у них есть обычай хоронить в их индийской стране. И вот собрал Долгожив поскорее все, что у них было в хижине, и продал, а на те деньги, которые выручил, купил два большие кувшина вина сладкого да два – вина крепкого да еще призапасил две большие вязанки смолистых дров и пахучего хвороста. Хворост и дрова он в овражке спрятал, а сладкими винами стал потчевать стражу, которая сторожила рассеченные тела. И когда сторожившие воины подпили, Долгожив стал им в сладкое вино подбавлять вино крепкое и так их напоил, что они уснули крепким сном. Тогда Долгожив оттащил их всех в сторону, а из оврага принес дрова и хворост, положил на костер рассеченные тела своих родителей и поджег костер. Костер вмиг запылал, и пахучий дым от смолистого дерева поднялся высоко, и тела Радована и Рупти сожжены были в пламени, а воины все еще спали и не проснулись.

Тогда Долгожив-царевич – как обычай есть в их стране – в знак почтения к своим родителям обошел пепелище вокруг

три раза со сложенными на груди руками и пошел прямо отсюда, не оглядываясь, в лесную дебрь и там долго оплакивал тела отца с матерью и обдумывал наставление отцовское: как понять слова «не смотри слишком далеко и не смотри слишком близко, потому что не враждою умиротворяется вражда, а милосердием». И понял он на первый раз, что сидеть да плакать об утрате от горести – будет значить «смотреть очень близко», будто как только и определено человеку в жизни делать, что убивать время в тоске о том, что прошло и чего возвратить невозможно.

Рассудивши так, встал царевич Долгожив с места, на котором долго сидел плачучи, под высоким деревом, и пошел в жилые места к людям, чтобы жить между них своими трудами, но долго он не находил нигде для себя никакой работы, и, переходя с места на место, пришел опять в Бенарес, в столицу царя Брамататы, и стал на площади, где собираются неимущие люди и ждут, чтобы их кто-нибудь взял на поденную работу.

Тут простоял он с утра и до жаркого полудня, когда уже одних рабочих разобрали, а другие, не нанявшись, к себе в шалаши ушли, а он все оставался и ждал, потому что был голоден и идти ему было некуда.

Тогда в самый пеклый жар пришел сюда царский конюх и сказал ему:

– Вот ты без дела стоишь и домой не идешь, верно, тебе и идти совсем некуда, так не хочешь ли со мной пойти по-

работаться?

– Только и жду того, – отвечал Долгожив, – веди меня куда надобно, я всякое дело делать рад, лишь бы вреда от того другим не было.

– Нет, – отвечал конюх, – никому другому не будет вреда от того дела, на которое я тебя зову, а не скрою я от тебя, что как бы тебе самому от этого не было неприятности. Видишь ли, есть у нас на царской конюшне очень много слонов, и за каждым из них по два приставника, и между этих слонов один новый есть – он недавно пойман и дик еще, и все его боятся, потому что он уже многих приставников своих хоботом схватывал и из стойла вон швырял, а других бил об стены до смерти и ногами раздавливал. Вот и нынче еще последнего своего приставника он ногою убил, и теперь никто к нему в стойло взойти не решается. Все согласны лучше прямо от царской воли себе казнь принять, чем к слону приблизиться, а слон этот нашему царю Брамадате очень нравится, и вот конюший позвал меня и сказал: «Иди и ищи, где знаешь, человека, который бы согласился за этим слонем ходить. Я ему дам жалованье против всех других вчетверо, а если такого человека не отыщешь – тогда сам входи к нему в стойло или пусть тебя расскажут как ослушника царского». А у меня, приятель, есть жена и пять детей, да еще старики мои живы, родители. Пожалей меня, милый друг, и если не робок ты, то походи наймись быть при злом слоне приставником. Может быть, он тебя полюбит и станет подпускать к

себе без лютости, потому что старики говорят, будто он не терпит тех, кто к нему идет с робостью, а мы все, наглядевшись на него, уже оробели, а ты не видал от него страха, так, может быть, и подойдешь к нему со смелостью.

– Ладно, ладно, – сказал Долгожив, – что рассказывать, у тебя есть жена с детьми и родители, а я тут весь один, и нет у меня ни роду ни племени, пойду за тебя попробую – цел ли, нет ли буду, а отведу от тебя беду в сторону.

И с этим Долгожив встал и пошел с конюхом к слоновым конюшням царя Брамадаты, который отнял у него и царство его Казальское, и казнил его отца с матерью.

Глава пятая

Когда люди, служившие в царских слонечнях, увидели, что пришел новый человек доброй волею и охотою, чтобы ходить за диким слоном, то все удивились и собрались смотреть, как он будет входить в просторное стойло, где слон стоял, прикованный за ногу к стояку, сплоченному из пяти толстых свай, вколоченных в землю с корневища по макушки и опоясанных в три ряда толстыми медными обручами.

Пришел и главный конюший посмотреть на Долгожива и сказал ему:

– Ну, входи не робеючи; будешь цел, я тебе дам жалованье против всех других вчетверо, и услышит про тебя царь – будешь ты у него в большой милости, а не будешь цел – на себя пеняй: не неволим тебя, а идешь вольной волею.

– Да, – сказал Долгожив, – я иду вольной волею, и совсем не для большой платы и милости, а иду, чтобы отдать мою жизнь, кому она надобна.

А сам вспоминает слова своего родителя и думает: «Кажется, этак я не гляжу слишком близко и не гляжу чересчур далеко, а гляжу так, как надобно, потому что человеку надо помогать неотложно, когда ему скорбь угрожает, а о себе нечего вдаль долго вздумывать: что вдали, то в свое время объявится».

И с этим Долгожив вздохнул вольным вздохом во всю

свою молодую грудь и запел нараспев громким голосом про то самое, о чем ему думалось, и стал нагребать в корзины из вороха рисовое зерно, приготовленное на корм слонам. А как насыпал рисом три корзины, что составляло для слона ежедневную дачу, то поставил эту корзину себе на голову и пошел в стойло к дикому слону без всякого страха и с веселою песнею.

Слон же ждал его, поводя длинным хоботом во все стороны, но при входе Долгожива не взметался, как при входе других делал. И так дал ему высыпать корзину риса и кормежный напол и выйти благополучно вон; а когда Долгожив принес с песнею вторую корзину, то слон стал ушами хлопать от радости, а когда третью принес, то слон согнул свой хобот и начал им Долгожива ласкать и поглаживать.

Доложили об этом царю Брамадате, и тот захотел сам увидеть Долгожива и велел ему при себе свои песни спеть, и пение Долгоживово сразу царю Брамадате понравилось, и полюбил он молодого приставника и за ясный взгляд его лица, и за мужественную смелость, и за чудесное пение. И сказал Брамадата, бенаресский царь, Долгоживу:

– Быть тебе при моем могучем, диком слоне приставником и получать всякого жалованья против всех других больше вчетверо, а есть и пить с моего стола, а как уберешься в слонечне, обрядив слона, то скидавай с себя платье приставничье и надевай на себя лучшее платье, которое я тебе с своего плеча сошью, и приходи ко мне всякий день, чтобы

предо мною петь и со мною разговаривать.

Так Брамадате-царю молодой Долгожив полюбился от разу, а как он стал всякий день к нему во дворец приходить и перед ним петь и с ним разговаривать, то понравился Долгожив Брамадате-царю во всех статьях, и столь его привлек к себе своим ласковым нравом и разумным о всех вещах рассуждением, что стал он царю самым милым человеком, и перевел его Брамадата жить из слонечных конюшен в свой царский дворец и не хотел расставаться с ним даже на самое малое время, а где сам сидит, тут и его держит, и куда выедет, туда и его с собой берет: и на войны, и на ристалища, и на охоты на тигров и других больших зверей. И назвал Брамадата, бенаресский царь, Долгожива уже не слоновьим приставником, а собственным его царским и задушевым другом. А ни Брамадата-царь, ни его придворные не знали, что Долгожив – сам природный царевич, сын казненного казальского царя Радована.

И так прожили Брамадата с Долгоживом в завидном для всех царедворцев содружестве целый год, а на втором году у них между собою вышло особое приключение.

Глава шестая

Выехал раз царь Брамадата на охоту за тиграми, и была с ним большая свита его придворных людей и стрелков самых искуснейших, а рядом с ним ехал верхом на коне Долгожив. И началась у них охота очень большая, и побили они уже много зверей, и вдруг на них выскочил огромный тигр и начал яро скакать, и то покажется на вид и человека разорвет, то опять в дебри скроется, и рассердил он всех, и все охотники ударились за ним в погоню, и все порознь разбились и в лесу растерялись, так что не скличутся в лесу и не свидятся, и не заметили, что вгорячах своего царя потеряли. А царь Брамадата очутился в непроходимой чаще только вдвоем с Долгоживом и почувствовал смертельную усталость.

Тогда сказал Брамадата Долгоживу:

– Я уснуть хочу, а боюсь, не ужалил бы меня, сонного, ядовитый гад. Разнуздай поскорей наших коней и привяжи их к деревьям, пускай ходят вокруг и травую покормятся, а сам сядь и дай мне положить мою голову тебе на колени и побереги мою жизнь, пока я усну и наберу опять себе силы, чтобы нам из этого леса выбраться.

– Хорошо, – отвечал Долгожив, – все сейчас будет по-твоему.

Разнуздал Долгожив верховых коней, поослабил на них седельные подпруги и привязал их на долгих ремнях к дере-

вьям, чтобы могли траву есть, а сам раскинул свою одежду, сел под деревом, сложив ноги накрест, и уложил на колени себе голову царя Брамاداتы. А тот от несносного жара и от усталости, как только прилег головою в колена к Долгоживу, так и заснул самым крепким сном.

Долгожив же сидел и берег его, чтобы не подкрался к нему из травы и не ужалил его какой-нибудь ядовитый гад, и обмахивал лицо спящего царя веткою, а сам, глядя на лицо его, стал раздумывать:

«Вот это спит у меня на коленях Брамاداتа, бенаресский царь, который сделал много зла всему нашему царству Казальскому: он наших добрых людей побил, а остальных в плен забрал, и одних замучил в неволе на тяжелых работах, и других совратил с пути кротости и научил их неверности и жестоким военным обычаям; он отнял у нас все стада и обозы, и казну, и всякий съестной запас, а земляные уголья под себя подбил с одной жадностью и забросил их без ухода лежать в опусте; да убил еще он без вины моего отца с моей матерью и повелел их еще перед смертью срамить – водить на посмешище по всем улицам, а потом рассек их наполю, да хотел, чтобы их тела, на части рассеченные, в горячей пыли бы валялися без погребения, – вот мне теперь какой случай пришел, чтобы за все его зло с ним разделаться!»

И как только вздумал это Долгожив, так и не заметил, как поспешно рука его вынула из ножен меч, и он поднял этот меч над открытым горлом Брамاداتы. Но в тот самый миг,

как хотел Долгожив провести острым мечом по горлу спящего царя, пролетело у него в уме предсмертное завещание отцовское, и сказал он себе: «Мой отец, когда его на казнь вели, сказал мне: ”Сын мой, Долгожив, не смотри ни слишком далеко, ни слишком близко, потому что вражда умиротворяется не враждою, а милосердием “. Не хорошо будет, если я этих слов моего отца не послушаюсь».

Так сказал себе Долгожив, и рука его вложила обратно меч в ножны.

Но не сразу борьба эта в сердце Долгожива утихла и темная страсть мщения уступила место свету милосердия. Трижды овладевала им жажда мщения, и три раза вынимал он из ножен меч свой и ставил его лезвие над открытым горлом спящего Брамадаты, и опять трижды вкладывал его назад в ножны, когда вспоминал отцовы слова; и когда он вложил свой меч в ножны в последний раз, то вдруг Брамадата страшно заметался во сне и, пробудясь от сна, стал говорить:

– Крепко я спал, но ужасно встревожился и не могу в себя прийти.

– Отчего? – спросил Долгожив.

– Оттого, что приснился мне страшный сон, будто ты поднимал надо мною острый меч и хотел перерезать им шею мне.

Глава седьмая

И как сказал это Брамидата, то вдруг запылала в душе Долгожива страшная месть, и он сказал царю хриплым голосом:

– Что тебе снилось, то и вьявь было, – и с этим схватил одною рукою Брамидату за волосы и перегнул ему голову через свое колено так, что у того все горло кверху выперло, а другою рукою выхватил меч и, приставив его к горлу Брамидате, начал говорить ему:

– Узнай же теперь, Брамидата, бенаресский царь, что я, отрок Долгожив, – сын Радована, царя казальского. Ты нам сделал очень много зла, ты отнял у нас стада, и обозы, и землю, и казну, и всякий запас, да умертвил и отца и мать мою, а теперь настал твой черед сгнбнуть, и пришло время отмстить тебе за твою вражду.

И хотел уже Долгожив двинуть рукою и перерезать горло Брамидате, царю бенаресскому, но лицо царя облилось слезами и исказилось ужасом, и он, обняв колена отрока Долгожива, стал его просить через слезы жалостливым голосом:

– Даруй мне жизнь, сын мой Долгожив. Даруй мне жизнь, дай мне видеть свет твоей милостью.

А Долгожив улыбнулся и сказал в ответ:

– Ты ведь царь! Что же ты просишь: я ли могу даровать тебе жизнь! Это ты можешь даровать мне жизнь, а не я тебе.

– Ах, мой сын Долгожив, – отвечал ему царь Брамидата, –

это так было во всю мою жизнь, когда я мог по своей воле отнимать жизнь у своих людей и у данников, но не так оно сделалось в этот час, которого я никогда над собой не желал видеть и который, однако, настиг меня. Теперь твоя надо мною власть, и я вижу свой прошлый грех, когда я велел отнимать у людей жизнь, им Самим Богом данную, и мучится за это душа моя мукой ужасною, и прошу я под твоим мечом у тебя, отрок мой, милосердия: даруй мне жизнь, сын мой Долгожив, даруй жизнь мне и поверь мне по опыту, что если ты не проведешь мечом по моей шее и не отделишь от плеч мою голову, то ты больше увидишь радости, чем бы сказнив меня за то зло, которое я сделал твоим неповинным родителям.

А Долгоживу опять пришли на память предсмертные слова отца его, и ярость в душе его понизилась, и стал находить на него дух милосердия, и отодвинул он меч с шеи царя и сказал:

– Дарю тебе жизнь, и ты не отнимай вперед жизнь ни у кого. – И с этим Долгожив всунул меч в ножны, и оба они с царем Брамадатою обнялись и как будто бы вновь народились и стали беседовать.

Глава восьмая

А в беседе Брамاداتа, царь бенаресский, захотел узнать все зло, какое Долгожив и его родители испытали от его прошлой лютости, и что с самим Долгоживом случилось – отчего он взял над гневом своим обладание. Долгожив рассказал Брамاداتе про все, что испытал он, и когда дошел до того, как его спасали от гнева слова, которые сказал ему перед смертью его родитель: «Не смотри ни слишком далеко, ни слишком близко и знай, что вражда умиротворяется не враждою, а милосердием», – тогда Брамاداتа-царь спросил у него:

– Скажи же мне, сын мой Долгожив, что сумеешь ты в этих словах, чтобы ими себя руководствовать?

А Долгожив отвечал ему:

– Разумею я, о царь, так: то, что сказал мне отец мой перед смертью: «Не смотри слишком далеко», – это значит: не давай в себе вражде долго длиться, а «Не смотри слишком близко» – значит: не расходись с человеком спешно, не испробовав повергнуть его кротко на лучшее. А что сказал мой отец, что «вражда не умиротворяется враждою, а милосердием», то означает, что ты, о царь, умертвил моего отца и мать мою, а если бы я за это отнял теперь у тебя жизнь, то через это вражда бы не умирилась, а умножилась, потому что те, кто предан тебе, отняли бы у меня жизнь, а кто предан

мне, стали бы искать, как у них отнять жизнь, и так через нас вражда бы не умиралась, а умножилась, и конца бы ей не было. А теперь, когда я не стал смотреть слишком далеко, питая злобу, и не смотрел слишком близко: не разошелся с тобою, а поверил тебе, что ты не станешь отнимать жизнь у людей, – то и побеждена вражда милосердием. Вот и тебе годится то, что сказал мой отец, – что «не враждой умиротворяется вражда, а милосердием». Это и думал мой отец перед смертью, сожалея, что он разошелся с тобою поспешно, не испытав переменить твои мысли от грозного обычая к доброму.

И как сказал это отрок Долгожив Брамадате, царю бенаресскому, то Брамадата-царь и задумался, и на ресницах капля слез затяжелела и свесилась. И сказал Брамадата терпеливому отроку:

– Коротко слово твое, сын мой, а смысл его длинен будет во весь век всей жизни на земле всего рода человеческого.

И с этой поры переменился царь Брамадата во всем нраве своем, и не было при нем более никогда казней над людьми, потому что он ни на что не смотрел слишком далеко или слишком близко и всегда помнил, что вражда умиротворяется не враждою, а милосердием.

1884–1885 гг.

Сказание о Федоре-христианине и о друге его Абраме-жидовине

Глава первая

В греческом городе Византии, прежде чем этот город стал называться Византий, жили два соседа. Один был еврей, а другой крещеный из потаенных; еврей содержал ветхозаветную веру пророка Моисея, а крещеный разумно соблюдал свою христианскую веру. Оба соседа жили исправно, а промыслами занимались различными: еврей делал золотые и серебряные вещи, а христианин имел корабли и посылал их с товарами за море. По соседству они друг другу ничем не досаждали и имели обыкновение никогда друг с другом о вере не спорить. Кто из них в какой вере родился, тот в такой и пребывал и свою веру перед другим не превозносил, а чужую не унижал и не порочил. Оба рассуждали так: «Кому что в рассуждении веры от Бога открыто, такова, значит, воля Божия». И так они в добром согласии прожили много лет счастливо.

У обоих этих соседей было по сыну, которые родились в один год. Христианин своего сына потаенно окрестил и назвал Федором, а еврей своего, по еврейскому закону, в вось-

мой день обрезал и назвал его Абрамом.

Тогда в Царьграде главною верой была еще вера языческая. Христиане и евреи, которые жили между язычниками, старались себя явно не оказывать, чтобы не дразнить язычников и не наклика́ть на себя неудовольствия. А потому как крещение Федора, так и обрѣзание Абрама отцы их сделали в домах своих без угощения, потихоньку, при одних своих близких родных.

Оба соседа, получив от Бога потомство, были очень рады. Христианин говорил:

– Добрый сосед! Дай Бог, чтобы сыновья наши жили между собою так же ладно, как мы между собою прожили.

И еврей сказал то же самое:

– Дай Бог, сосед, но я думаю, что дети наши должны жить еще согласнее, потому что они от нас, отцов своих, имеют добрый пример, что в согласии заключается удобье и счастье, а в несогласии – всякое беспокойство и разорение.

Глава вторая

Когда мальчики, Федор и Абрам, подросли до той поры, что их стали манить совместные игры и забавы, то обе матери – и христианка, и жидовка – начали выносить на огород и сажать их вместе, чтобы они забавлялись, а большим не мешали. А огороды у еврея и у христианина были рядом бок о бок и, по тогдашней простоте, ничем не были разгорожены. Вынесет еврейка, посадит своего Абрамку – и христианка принесет своего Федю и тоже посадит его рядом на траве под большой розовый куст; надают им каких попало детских забавок, чтобы играли, а сами пойдут каждая к своим делам по домашеству. Но всегда, бывало, и одна, и другая строго-настрого детям наказывали, чтобы играли мирно и весело, как хотят, а ссориться чтобы не смели. Ежели же в чем-нибудь не сумеют поладить, то чтобы не жаловались, а сами между собою мирились.

В таком простом, но добром научении мальчики выросли и сжились друг с другом так, что любили один другого совершенно как два согласные родные брата. Даже и более, потому что между родными братьями по крови бывают иногда несогласие и зависть, а у Федора с Абрамом ничего подобного не было. Что одному было любо, то и другому нравилось. А что один из них был окрещен, а другой обрезан, этого они совсем не знали. За занятиями и недосугами ро-

дители их оставляли им это без растолкования, да дети даже еще и не уразумели бы в своем возрасте, в чем тут разница. В невинном детском маломыслии они вместе играли и, наигравшись вместе, обнявшись, засыпали на травке, спрятав головы под один и тот же розовый куст, в котором копошились золотые пчелки, а детей не трогали, все равно как христианина, так и жидовина.

Но вот Федор и Абрам подросли и настало время посылать их в школу. А это случилось, когда в Константинополе язычество приканчивалось и была уже объявлена главной вера христианская. Идолские капища тогда разоряли или передельвали на церкви и на городских стенах, над воротами, стали писать образа, чтобы всякий, проходя, кланялся и молился.

В эту пору многое стали заводить на иной лад, и некоторые учителя начали изъяснять высшему правительству, что христианину и еврею вместе ходить в одну школу не годится, а непременно надо разделять детей порознь, чтоб они с малолетства не смешивались, потому что будто вместе им нельзя дать согласного научения, так как у евреев главный закон веры – от Моисея, человека Божия, а у других – от Христа. Мы их ветхий закон признаем, но только к нему от своего Нового Завета добавку делаем, а евреи думают, что им добавки не надо, а довольно и одно то соблюсти, что в старом законе от Моисея показано.

Глава третья

Матери Федора и Абрама нетвердо разумели, что их религии подробно касается, а знали по-женски одно наружное. Знали они, например, что жидовкам в свое время надо в ванну лазить и окунаются по обязанности, а крещеным женщинам – заведено мыться только когда понадобится; или что христианам можно есть свинину, а жидам свиное мясо запрещено и не позволено. Прочего же, что есть главное в том и в другом законе, они до тонкости не понимали и молились по-своему, каждая про себя, как была научена в детстве. Больше же всего обе они жили с тою заботой, чтобы в соседстве по домашеству им одной от другой было как можно удобнее и чтобы не оказать никакой друг другу помехи.

Старый, потаенный христианин и еврей, как настало время их мальчикам учиться, не захотели их разлучать, и чтобы в этом не было помехи, свели Федора и Абрама к одному мастеру, который и заучил их греческой грамоте.

Оба мальчика хорошо занялись и так полюбили грамоту, что рвались к ней в несытость. Мало им было того, чему в школе у мастера научатся, а они еще, как придут домой, опять и дома тоже продолжали заниматься. Как только поедят, сейчас опять сойдутся на огороде, сядут под деревцом, обоймутся и опять вместе читают – про разные страны и про разные веры. Одну за другою, много книг они прочитали, и

все с хорошою памятью, так что мастер обоих их хвалил и всем другим в пример ставил. Одобрял он их и за науку, и хвалил за добронравие, так как они вышли дети тихие, согласные и ласковые.

Так Федор и Абрам росли своим родным на утешение, а посторонним в хороший пример.

Глава четвертая

Отцы и матери Федора и Абрама, каждый на своем языке и по своей вере, благодарили Бога, что мальчики так умны и послушны, и радовались их согласию. В обеих семьях соседского сына привечали наравне со своим: Федор ли прибежит к Абрамовым родителям, старый еврей и еврейка были с ним ласковы, все равно как со своим, и так же точно если Абрам приходил к товарищу, то и Федоровы отец с матерью обращались с Абрамом всегда ласково, только свининой его не угощали.

А мастер, к которому Федор и Абрам ходили учиться книжной мудрости, был грек еще старого, эллинского научения и сам вышел из старинных философских школ. Его звали Панфил. Он был человек справедливый и умный и в детях старался насадить и укрепить ту же самую любовь к справедливости. Он не только учил их по книгам, но и на словах давал всем правильное наставление к жизни, чтобы никто один другого не уничижал и никто друг над другом ничем не превозносился, потому что если есть в ком что-нибудь более превосходное, чем в другом, то это в человеке не есть его собственное и им при рождении не выслужено, а от Бога даром ему пожаловано. Ни красотой тела, ни природой родителей своих, ни их богатством и знатностью – ничем у Панфила ученики друг перед другом не хвастались. И через это,

хотя в школе у Панфила было много детей из всего «рассеяния», то есть разных вер, но все они были приучены жить как дети одного Отца, Бога, создавшего небо и землю, и всяческое дыхание – еллина же и иудея.

Поучившись книжному мастерству, дети вместе шли по домам, весело между собою говоря и играя, особенно Федор с Абрамом, которые сжились как братья. Но вдруг вышло новое повеление, чтобы школам не быть для всех вместе, по-старому, а чтобы разделиться по верам. Так и стали заводить. И тогда над всеми школами уставили особый досмотр следить, чтобы дети одни с другими не мешались, и поставлены были особые смотрители, которых называли младопитателями.

Начали младопитатели все смотреть, во все вникать и обо всем распытывать, – не только чему мастера в своих школах учат, но и что родители своим детям дома внушают. Захотели враз все переделать за единый вздох.

Один такой младопитатель утвердился над тою школой, где учились Федор с Абрамом, и начал он у Панфила спрашивать:

– Объясни мне, Панфил, как ты веруешь и какую веру превозносишь, а какую опровергаешь?

Панфил отвечал:

– Господин, произволением Творца людям не одинаково явлено, во что верить, и у нас между всех есть много разных вер, и не в этом зло, а зло в том, что каждый из людей по-

читает одну свою веру за самую лучшую и за самую истинную, а другие без хорошего рассуждения порочит. А как я сам всех вер не знаю, то обе истины их во всей полноте судить не могу, и я потому ни одной веры против другой не унижаю и ни одну не превозношу, так как это до меня совсем не касающее.

Младопитатель удивился.

– Зачем же, – говорит, – ты этак лукаво умствуешь? Это так нельзя.

Панфил отвечает:

– Так я, по крайней мере, ни в какую ошибку никого не ввожу.

– Что за важная вещь ошибиться? Все ошибаются – это можно покаянием исправить; но мы знаем истину и должны ее всем оказать. Надо, чтобы между людьми было по их верам разделение.

– Для этого, – отвечает Панфил, – у всякого в своей вере есть наставники, которые всех разделить постараются, а в училище я только о том забочусь, чтоб у детей в постижении разума никакого разделения не было, а больше бы крепили любовь и согласие.

Младопитатель не похвалил.

– Это, – говорит, – у тебя нехорошо от ученых рассуждений развилось. Надо так, чтобы всякий отрок от младых ногтей особо себя понимал и жил всяк по своей вере.

Мастер не согласился и сказал:

– Я этого внушать не могу.

Стали друг другу отвечать и спорить, но согласиться не могли: и у одного, и у другого на все нашлись доказательства.

Младопитатель только тем взял верх, что сказал:

– Ты меня должен слушаться: я – начальник и твои рассуждения мне знать не нужно.

Тогда Панфил ответил:

– Хорошо; если все по твоей воле должно делаться, то тебе действительно от рассудка приводить нечего; но ты помилосердуй – не понуждай меня разлучать детей. Мои ученики еще молоды, и у них слабый, лысый размысл, ребячий. Когда они придут в возраст и разумом окудрявятся, тогда они сами, по своим смыслам в вере, разберутся, а пусть добрый навык согласия детского при них останется.

Младопитатель опалился гневом:

– Что такое есть земное согласие?! Надо достигать истины.

А Панфил опять просит.

– Да ты взгляни, – говорит, – на ребяток-то: ведь они теперь все еще молоды летами и умом все лысы, не крепки, – ничего того, что больших понятий требует, они понимать еще не могут. Помилосердуй, пожалуйста, оставь разделение их надольше, а пока пусть они все вместе учатся, пусть от младых ногтей обыкнут соблюдать мир душевный и друг к другу общую любовь. Тогда и разница в особых понятиях не разъединит сердец их.

Младопитатель головой замотал.

– Нам твое рассуждение, – говорит, – теперь не под стать.

Мы теперь заводим все по-своему, и скоро во всем свете все будет только по-нашему. Что мы хотим, то всякий должен от самых молодых ногтей постичь и это передо всеми на вид оказывать. А ежели кто рассуждает так, как ты судишь, то тот теперь к делу ненадежен, и я тебе так учить не позволю.

Панфил подул в свою бороду, вздохнул и молвил:

– Значит, быть по-твоему. На тебе власть, и я тебе покоряюсь. Не позволяешь мне так вести, как я умею, то и не надо: я свою школу прикончу и учеников отпущу.

– Да, отпусти, – отвечал младопитатель, – а чтоб и другим неповадно было, я твои двери на семь печатей припечатаю.

И припечатал. Школа прикрылась. А Панфил созвал детских отцов и говорит:

– Вот вышел такой приказ, которого я исполнить не могу, и младопитатель школу мою припечатал. Ведите теперь каждый свое дитя к другим мастерам по разделению веры вашей. У меня они худу не научились, а там дай им Бог научиться еще лучшему.

Пожалели отцы, что надо брать детей от кроткого Панфила, однако подчинились чему надо и развели детей в другие школы, каждый по разделению вер своих.

Глава пятая

Мальчики Федор и Абрам тут только впервые разлучились. Отвели Федора в особливую школу для христиан, где был учитель, который почитал себя всех праведнее, а Абрама отец свел в хедер к жиду, который считал себя всех умнее и из всех созданных чище. Он весь жидовский талмуд выучил и наизусть знал все правила, по которым все люди другой веры почитаются погаными.

Оба новые учителя на самом первом шагу сказали своим ученикам, чтобы никто с учениками из чужих школ и в шутку не баловал, а если кто не послушается и станет играть, тому в школе лозой пригрозили.

А чтобы дать детям растолкование, один сказал:

– Бог только с одними с нами в самом лучшем роде обходится, и одно наше все чистое, а всех других Бог гораздо меньше нас любит, и все другие – поганые, а все, что при них есть, это тоже все поганое. Что у них есть, все надо отнять да снести освятить и потом себе взять. Тогда оно очистится, а самому с погаными после того опять не знаться. Кто же с ним по простоте поведется, тот сам опоганится, и Бог за него не станет заступаться, а я его без всякого милосердия лозой застегая, а потом отдам его другому начальнику, а другой отдаст его еще третьему, и дойдет до того, что ему на свете живым не остаться. А потом его после смерти еще на том

свете опять будут медным веником в огненной бане парить и посадят на раскаленный железный стул и все будут мучить бесконечные веки.

Другой учитель не уступил этому и тоже одно свое все чистым называл, а чужое все испоганил, и также отданных ему в науку ребят обещался до смерти избить, а после смерти лишить их всех радостей.

Как в первый раз ученики вышли из школ, где услышали такие наставления, так и почувствовали, что на них взаправду рознь есть. Вместо того чтобы по-ребячьи друг с другом водиться на воле, они сейчас же вспомнили учительское наставление и начали друг против друга становиться и покривать:

– Не подходи; ты поганый.

А другие отвечали: ты сам поганый.

Федор слышал, как это говорили про Абрама, а Абрам слышал, как поганили Федора.

Глава шестая

Вернувшись домой, Федор и Абрам в первый раз не знали, можно ли им по-прежнему вместе сойтись.

Похватавши хлебца у матерей, побежали они по привычке на огород, на то самое место, где всегда игравали, но друг до друга не добежали, а стали одаль, как будто между ними какая-нибудь разметка была положена.

Стоят, жуют и один на другого исподлобья посматривают, а ближе не подходят.

Наконец один заговорил.

– Нам, – говорит, – теперь заказано, чтобы с вами не водиться.

А другой отвечает:

– И нам то же самое.

Помолчали.

– Про вас наш учитель говорил, что вы поганые.

– И наш про вас говорил, что вы поганые.

– Нет, мы не поганые – нам наш Бог особый закон дал, нам свинью есть нельзя, а вы едите.

– А вы ее отчего не едите?

– Я не знаю.

Опять помолчали.

– А что она, свинья, вкусная или нет?

– Если мать ее с черносливом и маслиной испечет, так она

очень вкусная.

Абрам задумался. Ему давно приводилось нюхать носом у Федора, как сладко пахнет свинина с черносливом, и у него теперь под языком защекотало.

Абрам плюнул и сказал:

– Поганое!

Федор говорит:

– Моя мать не печет поганого... А у нас школа лучше вашей.

Отвечает Абрам:

– А наша еще лучше вашей. У нас меламед в сивых кудрях и все знает.

– И наш все знает!

– Наш про вас знает, что вы поганые, а мы чистые.

– Да это и наш говорит, что вы поганые.

– Ну, так погоди, я об этом отцу скажу.

Оба рассказали отцам, а потом сошлись и опять переко-ряться начали:

– Отец говорит, что ваш учитель пустяки врет.

– А мой отец говорит, что ваш учитель пустяки врет.

Пошли с этих пор всякий день считаться, и скоро после того Федор и Абрам, от рождения своего дружные, начали друг друга поталкивать да с кулаками один на другого на-скакивать.

– Ах ты жид! – говорит один.

А другой отвечает:

– Ах ты гой-изуверный!

Пошло дальше, в том же роде, и у других. Где только встретятся дети разновременных отцов, так уж им и не охота друг с другом в лад между собою забавляться, а охотнее стало мануться, чтобы друг друга осмеять, да выругать, и при том непременно как-нибудь самым обидным манером, чтобы чужой веры или отца с матерью коснуться.

Все еще понимали в разности вер очень мало, и то одно только самое поверхностное, а спорили очень много и часто заканчивали свои споры драками.

Глава седьмая

Из-за детей вскоре и отцы начали ссориться и сами тоже стали учить детей, чтобы не сходились. Через вас, дескать, теперь только стала распря.

Федорова мать и Абрамова мать пошли раз на огороды, чтобы поискать сыновей, и видят, что их сыновья стоят друг против друга на меже и толкаются, а у самих у обоих глаза горят, и оба друг на друга кулачки сучат.

Один покрикивает: «Подойди-ка, подойди!» и другой – тоже.

Матери их развели. Всякая взяла себе под рукав своего и говорят:

– Удивительно, отчего прежде они никогда не ссорились. Это, верно, твой моего задирать начал.

А другая отвечает:

– С какой стати берешь на моего говорить? Мой всегда смирный, а это твой задирает.

Начали спорить: «твой – этакой», а «твой – этакой» и разругались.

– Чтоб нога твоего, – говорит, – на наш огород не вступала.

И другая сказала то же.

И взяла одна камней набрала и стежку проложила, чтобы за этот рядок Федор с Абрамом и переступить не могли. А

другая говорит:

– Я сама еще рядок камешков подброшу.

Стала камни швырять, да, в сердцах, одна камнем в соседку попала. Та завизжала.

Кинулись друг на дружку и начали одна на другой платье рвать да в глаза плеваться. Дети за ними. Сделалась драка, и поднялся такой большой шум, что услышали другие соседи и тоже выскочили на огород смотреть, как две бабы дерутся, а ребятишки им помогают. Услышали наконец и отцы Федора и Абрама, что их жены и сыновья дерутся, и прибежали и стали их разнимать, да вместо того сами подрались. А соседи, которые видели драку, глядят через заборы и руками пока не вмешиваются, но стараются помогать молитвами.

А потом те и другие не вытерпели, перелезли через загородки и стали каждый своими кулаками подсоблять, и вышло общее побоище.

Пришли военные и их разогнали, а тех, кто начал драку, за клин посадили и ноги им в колодки забили, а правителю доложили, что все эти люди за веру ссорятся.

Правитель велел христианина выпустить, а жиды еще побить и с него штраф взять, чтобы другим неповадно было с крещеными ссориться.

Прежних соседских ладов между Федоровым отцом и Абрамовым с сей поры как и не было. Вместо приязни настало такое неудовольствие, что из них ни один друг на друга и смотреть не мог без гнева. А чтобы вперед еще драки не

было, они разгородились высоким каменным забором, так, чтобы никто на соседское место и заглядывать не мог. Так прежние добрые соседи состарились и в распре друг с другом померли.

Глава восьмая

А время шло вперед, как ему Богом указано, и Федор, и Абрам выросли, отучились и стали хозяйствовать. Оба они продолжали дела, которыми их отцы занимались.

Федор торговал с заморскими городами, а Абрам золотые и серебряные вещи делал. Оба жили в достатках, но друг с другом по-прежнему, как в детстве было дружно, уже не сходились, пока пришел один особый случай.

Гулял раз Федор в праздничный день в загородном месте, за рощами над заливом, и видит, что несколько человек из тех, с которыми он вместе в одной школе учился, напали на Абрама, отняли у него золотые кольца и самого его бьют да приговаривают:

– Вот как тебе, жид, чтобы ты наш праздник почитал и не смел бы работать и ходить с непочтением.

Федору вспомнилось детство и жалко стало Абрама: за что его обижают? Федор и вмешался.

– Для чего, – говорит, – вы его обижаете? Какое зло он вам сделал?

А те отвечают:

– Он нашей вере непочтение сделал.

– Какое же непочтение?

– Он в наш праздник работу разносит и, как шел мимо ворот, где лик написан, головы не открыл.

А Федор, так как знал Евангелие и закон еврейской набожности, то и говорит:

– Вы не вправе поступаете. Работать никогда не грех. Сказано: если у тебя овца упадет в яму, разве ее, хоть и в праздник, не вытащишь? И за непоклон головы вы с него напрасно взыскиваете: это не обида, потому что по-нашему перед святыней надо голову открыть, а по-ихнему обычаю это как раз наоборот установлено: у них надо перед святыней непременно с покрытой головой быть, а открыть голову – значит непочтение.

Это действительно так было, как объяснял Федор, но ему не поверили и все заговорили:

– Ты врешь – как можно перед святыней покрывши голову быть? Это ты выдумываешь.

А Федор отвечает:

– Нет, я верно знаю и говорю правду.

– А почему тебе такая правда известна, а нам неизвестна? Мы все в одном месте учились.

А Федор отвечает:

– Я ранее школы дома об их вере в книжках читал.

– А-га... Ну, так ты, – говорят, – верно, и сам потаенный жид.

И набежало еще со всех сторон много людей, справлявших праздник, и стали спрашивать:

– Что здесь за шум и за что ссорятся?

А прежние стали скоро, частоговоркой, рассказывать, что

вот поймали жида с непочтением, а Федор хотя и крещеный, но за жидовскую веру заступается и свою ниже ставит. А те люди, не разобравшись дальше, отвечают Федору:

– Ты виноват!

– Чем?.. Я никому зла не сделал.

– Как, – говорят, – зла не сделал! А разве ты за жида не заступился?

Федор не солгал и хотел рассказать, из-за чего вышло то дело, в котором он заступился за Абрама, но его перебили и все закричали:

– Это все равно: если ты жидовский обычай оправдываешь и с своими равняешь, то это все равно, что ты жидовскую веру хвалишь. Примите же и честь одинаковую.

И стали все бить их обоих вместе – и Абрама, и Федора.

Избили их и оставили обоих в роще, в темном месте.

Глава девятая

Федор с Абрамом долго пролежали тут без памяти, а ночью, при прохладе, пришли понемножку в себя и стали, друг на друга опираючись, ползти домой. А как они добрались перед светом до дому, то Абрам сказал Федору:

– Друг Федор! Ты оказал мне правду и милосердие. Я твой должник буду на всю мою жизнь, а еще мне всего дороже то, что ты человек справедливый и Бога больше, чем людей, боишься.

Федор ответил:

– Друг Абрам, это и не должно быть иначе – так нам Иисус Христос велел, а я хочу быть Его ученик.

Абрам говорит:

– Да, но не все ученики Твоего Учителя понимают Его учение так, как ты.

– Что же делать, – отвечал Федор. – Ведь и у евреев то же самое: внушения человеческие для многих закрывают заповеди Божеские.

– Правда, – молвил Абрам и, вздохнув, добавил: – Поймут ли когда-нибудь все люди истину, что Творец не желает в них разделения?

– Поймут все, только не в одно время.

– Приблизь, Господь, это время.

Федор улыбнулся.

– Вот, – говорит Абрам, – мы с тобой в детях друг друга любили, когда вместе играли и вместе под одним кустом спали, а потом люди нас заставили врознь быть. А сейчас ты, я думаю, не заметил, что случилось: мы ведь вместе одною молитвой к Богу помолились!..

Абрам говорит:

– Пусть живет в вас дух Учителя вашего, а не иных, кои имя Его знают, да духа Его не имеют.

После этого они стали опять приятелями и по старой, детской привычке находили большое удовольствие, чтобы после трудов друг с другом постоять и поговорить.

В дома они один к другому не входили, потому что боялись, чтобы через это не увеличить молву, которая про них была пущена. Про Федора свои говорили, будто он потому за жида заступился, что сам втайне предается жидовству и даже на молитве по-жидовски скачет; а про Абрама жида сочиняли, что он свиное ухо съел и Моисеев закон оставляет и тайно к христианам пристал, чтобы войти в милость у властителей. И обоим им и от семейных, и от своих общественных людей выпадали досадные попреки.

А на самом деле ничего этого не было. Федор и Абрам – оба оставались по вере как были: кто в которой родился, тот в той и пребывал. И как они в детстве своем никогда не спорили, чья вера лучше или богоугоднее, так же и теперь никаких споров о вере не заводили. Напротив, они как бы крепче уверились, что и в одной, и в другой вере во всех отношени-

ях можно себя руководствовать, если только понимать веру правильно и не иметь лукавых замыслов и вредных для мира привычек.

А когда они в этом укрепились, то если у них после того заходил разговор, то он только в тихую и приятную беседу обращался.

Федор сказал раз Авраму:

– Мне жалостно видеть, сколько через споры о вере сделалось распрей в людях.

А Аврам ему ответил:

– Этому так и следует быть. Если очи наши не на одинаковую даль и не на равную высь видеть могут, то кольми паче понимание не одинаково все постигать может, а должно разнствовать. Если бы это не было угодно Богу, то все бы люди одинаково все видели и одинаково понимали, но Бог не так создал, а создал различие в понимании. Оттого и разные веры.

Федор согласился.

– Это так, – говорит, – но только распри, которые через это настают, душе моей тягостны.

– Распри, – отвечал Аврам, – тоже от непонимания, что все веры к одному Богу ведут. Кто умный богочтитель, тот во всякой вере пожелает почтить ее истину.

Опять согласился Федор.

– Да, – говорит, – я давно думаю, что вот и твои единоверцы напрасно негодуют на Христа. Они сами не понимают,

что Он одно добро желал сделать всем людям, и за то и убит от злобы непонимавших.

Абрам согласился.

– Слов нет, что твоя правда, – сказал Абрам. – Муж Галилейский, о Котором ты говоришь, честен, свят и премудр, а не понимают Его не только худые из Моисеевых учеников, которые мнят тем ненавидением службу приносить Богу, но не понимают многие и твои единоверцы, и это тем жалче, что сии даже Богом Его почитают, а Его доброго святого учения и по человечеству не исполняют. Жалей, друг мой Федор, об этом, ибо чрез это вы другим не можете открыть Иисуса во всей силе Его побеждающего завета и иных о себе смущаете и заставляете сомневаться в вере вашей.

Федор вздохнул и сказал:

– Абрам, ты меня борешь!

А Абрам отвечал:

– И ты меня борешь! Не спорить надо о Боге, а стараться жить в мире.

Абрам приложил большие персты своих рук к глазам и голосно, по-жидовски, пропел:

– Умейн! – то есть аминь, или, по-нашему, истинно.

Федор обнял его из всей силы и, прижав к сердцу, прошептал:

– Он теперь среди нас.

Абрам говорит:

– Ну так что ж? Побудь с нами, Муж Галилейский!

Федор растрогался и заплакал.

– Побудь! – молит. – Останься! Мы сотворим Тебе сению.

А Абрам опять ударил:

– Умейн!

И так точно разговоры о вере никогда не смущали согласия Абрама и Федора. Они опять ходили в свой разгороженный огород и, подмостившись на скамейках, беседовали через стену, но только ненадолго этого стало.

Вере, надежде и любви скоро пришло испытание.

Федор и Абрам стали мирны, да вокруг их все уже иным духом взялось и все, что случится, оборачивалось им в смущение.

Глава десятая

У Федора начались разные беды – и все одна за другою. Одна беда точно вела за собою другую. Федор сначала сделался нездоров и долго лежал, а потом стали у него болеть дети и ни один не выздоровел, а все друг за другом умерли, а потом умерла и его молодая жена, которую он любил и имел от нее большую помощь в хозяйстве.

Федор в этих горестях ослабел душою и стал неаккуратно смотреть за делами, а его наемные люди хоть они были и крещенные, а не пожалели его и этим его несчастьем воспользовались и много расхитили. После же всего один его должник, которому Федор верил, как брату, сильно обманул и присягнул, что долг ему отдал. Федорово хозяйство ото всего этого сильно пошатнулось, и он закручинился. А люди стали о нем толковать и со всех сторон ему говорили:

– Раздумайся: за что так тебя Бог наказывает? Верно, это на тебя посылается за то, что ты живешь в дружбе с жидом – врагом веры христианской.

Федор таким внушениям не верил и слов этих не любил слушать, а отвечал:

– Вы мне не утешение делаете, а одну досаду. Вы сами не знаете, что говорите: нам Христос никого не позволил ненавидеть, а всех приказал любить.

– Только, – говорят, – не жидов.

А Федор отвечает:

– Этого в Евангелии не сказано.

– Жид – враг нашей вере.

– Он враждует, если не понимает, чему учит наша вера, а глядя на нас о ней судит. Это мы виноваты, потому что мы еще злы и не исправляемся и не живем по Христову наставлению. Сосед Абрам никогда мне моей веры не порочил и даже об учении Христовом рассуждает с почтением; а если бы он и враг был, то и тогда я, как христианин, обязан был бы о нем как о враге милосердовать, чтобы волю Христову исполнить. Или забыли, что Христос на кресте за Своих врагов молился?

Ему отвечают:

– Нам с Христом себя не ровнять – Он Бог, а мы люди.

Ты богохульствуешь.

– Нет, я не богохульствую, – отвечал Федор, – а я только говорю, что Христу надо следовать, и когда другие люди нашу доброту увидят, они скорее нашу веру любить станут. В этой доброте мы Христа своего всему миру явить можем на уважение.

Люди на это только больше рассердились, а среди их был один Никодим-мироварник, который продавал миро, – он стал всем сказывать, что Федора грешно и слушать, потому что Федор теперь уже проклят, яко друг жидовинов, и Никодиму будто во сне явлено, что Федору дальше не будет ни в чем удачи, а нападут на него еще ббльшие беды, и тому, кто

с Федором водиться станет, тоже ни в чем удачи не будет.

Федор и этому не внимал и не боялся быть от всех покинутым, а рассуждал так, что он худа не делает, храня детскую дружбу с Абрамом, человеком честным, который свою веру держит, а чужой не порочит и даже хорошее в ней хорошим называет.

Глава одиннадцатая

Абрам пришел к Федору и сказал без всякого гнева:

– Друг Федор, я узнал, что твои люди на тебя в большом неудовольствии за твое ко мне расположение. Как бы для тебя от этого худо не вышло.

А Федор отвечает:

– Друг Абрам, я люблю тебя и не могу делать иначе. В отрочьем веке нас с тобою было разбили, но теперь в возрасте мы этого над собой не допустим. Только душа моя ослабевает от больших несчастий. Неужели и вправду Бог меня кинул?

– Счастье и несчастье сменяются в жизни, – отвечал Абрам. – Бог, Который создал и христианина, и еврея, и темного язычника, никому не открыл тайны судьбы их. Люди дерзки, когда они хотят проникать тайну Бога и толкуют по-своему, за что человеку от Бога посылается счастье и несчастье. Это как по нашей, так и по вашей вере совсем не человеческое дело разбирать и раскладывать. Наше человеческое дело – помогать чем можем друг другу; к приятности нашей теперь подвален большой камень, а потому и тебе будет трудно, да и мне страшно, если тебя постигнет еще какое-нибудь бедствие. А потому прошу тебя, не стесняйся дружбой ко мне и покажи, что ты мною пренебрегаешь, а я в душе моей за это на тебя не обижусь.

В Федоре от этих слов даже сердце заныло.

– Нет, – говорит, – Абрам, ты мне друг от молодых ногтей и никогда меня ничем не обидел, и я тебя не могу обидеть таким обхождением.

– Ну смотри, как знаешь, – отвечал Абрам и, поцеловав Федора, добавил сквозь слезы: – Бог один знает, к чему эти испытания, но будем друг другу верны и Бог не постыдит нашей верности.

Так друзья днем между собою говорили, а ночью собрались над их городом тучи, ударил с неба гром и спалил в одно мгновение весь дом Федора и все его амбары и кладовые, где у него лежали товары, которые он только что хотел посылать за море.

Глава двенадцатая

После этой беды отшатнулись от Федора все, как от чумного, и стали верить, что с ним и знаться не следует, потому что на нем весь гнев Божий.

Федор стоит на своем пожарище, унылый, и думает: «Мне ни от кого не будет помощи».

А знакомый голос кличет его из-за забора.

Федор поднял голову и видит лицо Абрама.

– Что ты тужишь? – говорит Абрам. – В беде надо скорей поправляться.

А Федор отвечает:

– Нечем мне мою беду поправлять; я все дотла потерял, и теперь мне не за что взяться.

– Я тебе денег дам займы на разживу.

– Ты смеешься, Абрам!

– Нет, не смеюсь.

– Мне теперь, чтобы поправиться, надо, по крайней мере, тысячу литр золота.

– А что же ты с ними сделаешь?

– Я опять накупил бы цареградских товаров, отплыл бы в Александрию, там бы продал все за тройную цену и долг бы отдал, и себе бы нажил.

– Что же, это хорошо, приходи и возьми себе у меня в долг тысячу литр золота.

– А кого же я тебе поставлю порукой, что я тебя не обману и долг отдам?

– Не надо мне поруки. Пусть будет нам наша детская дружба порукой.

Федор говорит:

– Как люблю Иисуса Христа, так ручаюсь тебе, что я тебя не обману.

А Абрам отвечает:

– Знаю, как ты Его почитаешь, и потому еще более теперь верю. Ты Его имя напрасно не скажешь. Иди и бери деньги.

– А если мне будет неудача и ты тогда станешь думать, что я Христом не подорожил?

– Нет, я знаю, что ты человек верный. Иди ко мне и бери скорей тысячу златниц, снаряжай корабль и плыви с товаром в Александрию.

Федор написал Абраму должную расписку и подписал ее, а Абрам отсчитал Федору тысячу златниц, и тот накупил нужных для Александрии цареградских товаров, нагрузил все на корабль, распростился и поплыл в Египет.

Все удивлялись, откуда Федор взял столько денег, чтобы так легко справиться, и говорили между собою: «Верно у него деньги в земле были припрятаны». А Федор, когда настало время отчалить его кораблю, зашел к Абраму проститься и, благодаря его еще раз, сказал:

– Верь же, друг Абрам, что я тебя не обману и не поставлю в фальшь имени Иисуса.

Абрам отвечал:

– Я не сомневаюсь. Добрый человек не может пристыжать того, кого любит и уважает как своего учителя. Плыви с Богом, и что бы с тобою ни случилось, я своего доверия не изменю.

А доверию Абрама суждено было выдержать много испытаний.

Глава тринадцатая

Федор благополучно прибыл с цареградскими товарами в Александрию и очень хорошо расторговался. Выручил он столько денег, что мог заплатить весь долг Абраму и себе оставить. Но на обратном пути в Константинополь морская буря разбила его корабль, и сам Федор насилу спасся на бревне, а все его золото погибло.

Мимо шедшие корабельщики взяли Федора из воды, привезли в Константинополь и выпустили как нищего.

Сошел Федор на землю, дождался ночи и, согнувшись под лохмотьями негодной одежды, которую дали ему на корабле, потащился к своему пожарищному пустырю, забился в погребичную яму и плачет.

Стыдно ему было даже в лицо Абраму взглянуть и рассказать, какой с его деньгами вышел худой оборот.

А Абрам сам узнал через людей о Федоровом возвращении и сейчас же пролез к нему в яму и говорит:

– Полно, Федор, что ты стыдишься? Беда над всяким может случиться. Не приходи в отчаяние. Я тебе верю и помню, что ты священное для тебя имя во свидетельство произнес. Ты Иисуса не обманешь, а я вот принес тебе еще тысячу златниц. Бери и начинай все дело наново.

Федор ни ушам, ни глазам своим не верил.

– Я, – говорит, – не могу принять.

– Отчего?

– Видишь сам: меня ужасные бедствия преследуют.

– Что же, тут-то тебе и надо мужаться, а друзьям твоим тебе помогать. Иди оденься в мою запасную одежду, бери тысячу златниц и принимайся опять за дело.

Федор отвечает:

– Я боюсь, что я с моею судьбой и тебя изнищу.

– Полно, – говорит Абрам, – что о судьбе спорить? Судьба никому не известна, а то, что ты за меня бит был от своих, это мне известно, и я тебя не выдам в несчастье, да не презрен будет в людях жид яко раб Еговы, сотворившего небо и землю. Неужели ты за меня умел пострадать, а я будто того же снести не сумею? Бери деньги и ступай опять искать счастье.

Одел Абрам Федора в свою запасную одежду; прежнюю долговую расписку переписали с одной тысячи на две, и Федор пошел снаряжаться.

Глава четырнадцатая

В этот раз Федор закупил в Цареграде ароматной смолы и нагрузил ею целый корабль. Привез смолу в Александрию и с большим прибытком променял ее тамошним купцам на олово и поплыл с оловом в Ефес. В Ефесе на ту пору олово было очень надобно и в большом спросе. Федору дали за олово вес на вес красной меди. И стал Федор вдруг богат от этого выгодного промена и поплыл назад к Константинополю, радуясь, что теперь он с Абрамом рассчитается и сам снова будет жить непостыдно.

Но вышло все опять пребедственно: опять Федорово судно разбилось, и опять все его богатство потонуло. А из людей он только один спасся, и опять совсем голый, как мать родила, явился домой, добрался он до своего пепелища в Царьграде, сел в уголке темной погребной ямы и опять плачет. Опять приходит к нему Абрам и говорит:

– Ну слушай ты, Федор! Извели мы с тобой денег много, две тысячи златниц, и все понапрасну: надо их вернуть.

Федор отвечает:

– Как еще вернуть? Бедствия меня так и преследуют. Но что для меня всего тягостнее, ты можешь подумать, что я твои деньги скрыл и теперь притворяюсь бедным.

– Нет, – отвечает Абрам-жидовин, – ты всегда был честный человек, да и Иисусово имя ты не произнес бы напрас-

но. Я знаю, что ты Иисуса истинно считаешь и никогда во лжи Его имя не упомянешь.

– Утешь тебя Бог, Абрам, что ты так обо мне думаешь! Правда твоя: я не помяну имени Иисуса Христа во лжи, хотя бы на меня еще большие пришли напасти, и рад я, что ты веришь, как я Его почитаю.

– Ну и толковать нам не о чем. Вот тебе твоя старая расписка на две тысячи златниц. Сотри ее и напиши новую, в три тысячи, и поезжай в третье.

Федор изумился.

– Благодарю, – говорит, – за твою добродетель, но мне уж и братъ неохота. Верно, на мне есть какой особый грех, или в самом деле так надобно, чтобы люди разных вер друг другу не помогали.

– А вот для этого-то, – говорит Абрам, – я и не хочу, чтобы ты так думал. Един Бог во вселенной, но суды Его разбирать не наше дело, а помогать друг другу есть наша обязанность. Пиши третью расписку на три тысячи литр золота и отплывай в третье.

Глава пятнадцатая

Федор, по настоянию Абрама, взял тысячу литр золота, сел на корабль и поехал в Кальварию. Удача ему опять пошла самая счастливая. В Кальварии он накопил пшеницы по сребренику за решето и отплыл с нею в Гундалы, а в Гундалах всю пшеницу продал по златнице за решето. Денег стало очень много, но Федор на том не остановился: в Гундалах он накопил хорошего виноградного вина по сребренику за мотру и поплыл с вином в Антиохию. Вино за дорогу переиграло, стало еще лучше, и Федор продал здесь вино по златнице за мотру, которую купил всего по сребренику.

После этого у Федора стало столько денег, что и девать некуда. Но Федор знал, что он и прежде с Абрамовой руки наживал их легко, да только никогда довести не мог.

Как бы опять в третий раз того же самого не было.

Надумал Федор лучше самому денег не везти, а послать их с какими-нибудь вольными корабельщиками так, чтобы им неизвестно было, что они везут.

Пошел Федор ходить по городу, купил для Абрама дар, антиохийский плащ, да седло, чтобы на осле ездить, да крепкий ларец и сделал из всего этого один сверток, а ларец завертел в самую середку, и положил туда четыре тысячи золотых литр: три тысячи в возврат за взятый у Абрама долг, а четвертую тысячу за проценты. Завернул это все так, что

ларца не видно было, и отдал ехавшим в Царьград корабельщикам, чтоб отвезли Абраму-жидовину. А мало время спустя и сам поехал за ними следом.

Вольные корабельщики не догадались, что они везут в посылке золото, и как дошли до Царьграда, так сейчас и отдали посылку Абраму-жидовину.

Глава шестнадцатая

Абрам был человек осторожный: он не стал при корабельщиках смотреть, что такое ему от Федора прислано, а отнес сверток домой, заперся один и как развернул плащ и седло, то нашел накрепко заклепанный ларец, а в ларце деньги – все четыре тысячи златниц полностью: три – в возврат займа, а четвертая – за проценты.

Абрам пересчитал деньги, спрятал их и молчит, никому ни слова не говорит.

Вскоре затем Федор успел вернуться и сейчас же приходит к Абраму с большими дарами, кладет перед ним и ткани, и каменья, и золото.

– Прими, – говорит, – от меня; я тебе всем обязан. Без тебя бы пропал я.

А Абрам отвечает:

– Я за дары тебя благодарю и принимаю их, но пора же тебе, Федор, теперь мне и долг отдать.

Федор сильно смутился, но отвечал другу:

– Правда, Абрам. Я затем и пришел, чтобы поднести тебе сначала мои дары в честь, а теперь пойдем со мною на мой корабль, раскроем все, что я имею, сочтем и поделим все поровну надвое: половину мне, а половину – тебе.

Абрам усмехнулся и говорит:

– Нет, Федор, я тебя искушал шуткою, чтобы видеть: не

опалишься ли ты на меня и не скажешь ли мне укоризны за мое жидовство. Вижу, однако, что ты воистину кроток, как твой Учитель, Иисус Галилейский. Я от тебя через корабельщиков весь свой долг и проценты получил, и мне больше ничего от тебя не следует. Вот возьми свою должную грамоту. Но скажи мне только на милость, как ты это так послал мне столь значительные деньги без всякого следа?

– А видишь, – отвечал Федор, – я ужасался моего несчастья на обратный путь и лучше хотел два раза тебе заплатить, чем еще один раз остаться неисправным за порукой имени моего Спасителя.

Абрам обнял и расцеловал Федора.

– Да, – говорит, – ты Его истинно любишь и прославляешь. Умножь Бог на свете людей, тебе равных и подобных.

– Да умножь Бог и таких, как ты, Абрам, – отвечал Федор и сказал, что он желает построить из своего богатства такой дом, где бы был приют и харчи всем бедным детям всех вер без различия, чтобы они с детства друг с другом свыкались, а не разделялись.

Абрам очень обрадовался.

– Хорошо, – говорит, – и я свой процент не беру, а отдаю на этот дом. Пусть дети живут без разбору, как мы с тобою жили в детстве нашем. И пусть будет это дружбе нашей на старости поминанье.

И сделали так: построили дом и назвали его селением ближних. И приходя туда, оба одною радостью радовались и,

одною равною заботой о ближних заботясь, мнили, яко единую и согласную службу приносят всех сотворившему Богу.

Повесть эта не есть баснословие, измышленное досугом писателя. Это есть истинная история, в древние годы действительно бывшая и в давние же годы писанная рукой современного богочтителя и человеколюбца. Ныне она от старых записей взята и в новом изложении подается для возможного удовольствия друзей мира и человеколюбия, оскорбляемых нестерпимым дыханием братоненавидения и злопомнения.

1886 г.

Скоморох Памфалон

*Слабость велика, сила ничтожна.
Когда человек рождается, он слаб и гибок;
когда он умирает, он крепок и черств.
Когда дерево произрастает, оно гибко и нежно,
и когда оно сухо и жестко, оно умирает.
Черствость и сила – спутники смерти.
Гибкость и слабость выражают свежесть
бытия.
Поэтому, что отвердело, то не победит.
Лао-цзы*

Глава первая

В царствование императора Феодосия Великого жил в Константинополе один знатный человек, «патрикий и епарх», по имени Ермий. Он был богат, благороден и знатен; имел прямой и честный характер; любил правду и ненавидел притворство, а это совсем не шло под стать тому времени, в котором он жил.

В то отдаленное время в Византии, или в нынешнем Константинополе, и во всем царстве Византийском было много споров о вере и благочестии, и за этими спорами у людей разгорались страсти, возникали распри и ссоры, а от этого выходило, что хотя все заботились о благочестии, но на са-

мом деле не было ни мира, ни благочестия. Напротив того, в низших людях тогда было много самых скверных пороков, про которые и говорить стыдно, а в высших лицах царило всеобщее страшное лицемерие. Все притворялись богобоязненными, а сами жили совсем не по-христиански: все злопамятствовали, друг друга ненавидели, а к низшим, бедным людям не имели сострадания; сами утопали в роскоши и нимало не стыдились того, что простой народ в это самое время терзался в мучительных нуждах. Обеднявших брали в кабалу или в рабство, и нередко случалось, что бедные люди даже умирали с голода у самых дверей пировавших вельмож. При этом простолюдины знали, что именитые люди и сами между собой беспрестанно враждовали и часто губили друг друга. Они не только клеветали один на другого царю, но даже и отравляли друг друга отравками на званых пирах или в собственных домах, через подкуп кухарей и иных приспешников.

Как сверху, так и снизу все общество было исполнено порчей.

Глава вторая

У упомянутого Ермия душа была мирная, и к тому же он ее укрепил в любви к людям, как заповедал Христос по Евангелию. Ермий желал видеть благочестие настоящее, а не притворное, которое не приносит никому блага, а служит только для одного величания и обмана. Ермий говорил: если верить, что Евангелие Божественно и открывает, как надо жить, чтобы уничтожить зло в мире, то надо все так и делать, как показано в Евангелии, а не так, чтобы считать его хорошим и правильным, а самим заводить наперекор тому совсем другое: читать «остави нам долги наши, якоже и мы оставляем», а вместо того ничего никому не оставлять, а за всякую обиду злобиться и донимать с ближнего долги, не щадя его ни силы, ни живота.

Над Ермием за это все другие вельможи стали шутить и подсмеиваться; говорили ему: «Верно, ты хочешь, чтобы все сделались нищими и стояли бы нагишом да друг дружке рубашку перешвыривали. Так нельзя в государстве». Он же отвечал: «Я не говорю про государство, а говорю только про то, как надо жить по учению Христову, которое все вы зовете Божественным». А они отвечали: «Мало ли что хорошо, да невозможно!» И спорили, а потом начали его выставять перед царем, как будто он оглупел и не годится на своем месте.

Ермий начал это замечать и стал раздумывать: как, в са-

мом деле, трудно, чтобы и в почести остаться, и самому вести жизнь по Христову учению?

И как только начал Ермий сильнее вникать в это, то стало ему казаться, что этого даже и нельзя совсем вместе соединить, а надо выбирать из двух одно любое: или оставить Христово учение, или оставить знатность, потому что вместе они никак не сходятся, а если и сведешь их насильно на какой-нибудь час, то они недолго поладят и опять разойдутся дальше прежнего. «Уйдет один бес, и опять воротится, и приведет еще семерых с собою». А с другой стороны глядя, Ермий соображал и то, что если он станет всех обличать и со всеми спорить, то войдет он через то всем в остылицу, и другие вельможи обнесут его тогда перед царем клеветами, назовут изменником государству и погубят.

«Угожу одним, – думает, – не угожу другим: если с хитрыми пойду – омрачу свою душу, а если за нехитрых стану – то им не пособлю, а себе беду наживу. Представят меня как человека злоумышленного, который сеет беспокойствие, а я могу не стерпеть напраслины да стану оправдываться, и тогда душа моя озверевает, и я стану обвинять моих обвинителей и сделаюсь сам такой же злой, как они. Нет, пусть так не будет. Не хочу я никого ни срамить, ни упрекать, потому что все это противно душе моей; а лучше я совсем с этим покончу: пойду к царю и упрошу его позволить мне сложить с себя всякую власть и доживу век мой мирно где-нибудь простым человеком».

Глава третья

Как Ермий задумал, так он и сделал по своему рассуждению. Царю Феодосию он ни на что не жаловался и никого перед ним не обвинял, а только просился отставить его от дел. Царь уговаривал Ермию остаться при должности, но потом отпустил. Ермий получил полную отставку («отложи от себя всяку власть»). А в это же самое время скончалась жена Ермия, и бывший вельможа, оставшись один, начал рассуждать еще иначе.

«Не указание ли мне это свыше? – подумал Ермий. – Царь меня отпустил от служебных забот, а Господь разрешил от супружества. Жена моя умерла, и нет у меня никого такого в родстве моем, для которого мне надо было бы стараться по своим имениям. Теперь я могу идти резвее и дальше к цели евангельской. На что мне богатство? С ним всегда неминуемые заботы, и хоть я от служебных дел отошел в сторону, а, однако, богатство заставит меня о нем заботиться и опять меня втравит в такие дела, которые не годятся тому, кто хочет быть учеником Христовым».

А богатства у Ермия было очень много («бе бо ему богатство многосущное») – были у него и дома, и села, и рабы, и всякие драгоценности.

Ермий всех своих рабов отпустил на волю, а все прочее «богатство многосущное» продал и деньги разделил между

нуждавшимся бедными людьми.

Поступил он так потому, что хотел «совершен быть», а тому, кто желает достичь совершенства, Христос коротко и ясно указал один путь: «Отдай все, что имеешь, и иди за Мною».

Ермий все это исполнил в точности, так что даже никакой малости себе не оставил, и радовался тому, что это совсем не показалось ему жалко и трудно. Только начало было дорого сделать, а потом самому приятно стало раздавать все, чтобы ничто не путало и ничто не мешало идти налегке к высшей цели евангельской.

Глава четвертая

Освободясь и от власти и от богатства, Ермий покинул тайно столицу и пошел искать себе уединенного места, где бы ему никто не мешал уберечь себя в чистоте и святости для прохождения богоугодной жизни.

После долгого пути, совершенного пешими и босыми ногами, Ермий пришел к отдаленному городу Едессу и совсем неожиданно для себя нашел здесь «некий столп». Это была высокая каменная скала, и с расщелиной, и в середине расщелины было место, как только можно одному человеку установиться.

«Вот, – подумал Ермий, – это мне готовое место». И сейчас же взлез на этот столп по ветхому бревнышку, которое кем-то было к скале приставлено, и бревно оттолкнул. Бревно откатилось далеко в пропасть и переломилось, а Ермий остался стоять и простоял на столпе тридцать лет. Во все это время он молился Богу и желал позабыть о лицемерии и о других злобах, которые он видел и которыми до боли возмущался.

С собою Ермий взял на скалу только одну длинную бечевку, которою он цеплялся, когда лез, и бечевка эта ему пригодилась.

На первых днях, как еще Ермий забыл убрать эту бечевку, заметил ее пастух-мальчик, который пришел сюда пасти

козлят. Пастух начал эту бечевку подергивать, а Ермий его стал звать и проговорил ему:

– Принеси мне воды: я очень жажду.

Мальчик подцепил ему свою тыквенную пустышку с водой и говорит:

– Испей и оставь себе тыкву.

Так же он дал ему и корзинку с горстью черных терпких ягод.

Ермий поел ягод и сказал:

– Бог послал мне кормильца.

А мальчик как только пригнал вечером в село стадо козлят, так сейчас же рассказал своей матери, что видел на скале старика, а пастухова мать пошла на колодец и стала о том говорить другим женщинам, и так сделалось известно людям о новом столпнике, и люди из села побежали к Ермию и принесли ему чечевицы и бобов больше, чем он мог съесть. Так и пошло далее.

Только Ермий спускал сверху на длинной бечеве плетеную корзину и выдолбленную тыкву, а люди уже клали ему в эту корзину листьев капусты и сухих, невареных семян, а тыкву его наполняли водою. И этим бывший византийский вельможа и богач Ермий питался тридцать лет. Ни хлеба и ничего готовленного на огне он не ел и позабыл и вкус вареной пищи. По тогдашним понятиям находили, будто это приятно и угодно Богу. О своем розданном богатстве Ермий не жалел и даже не вспоминал о нем. Разговоров он не имел

ни с кем никаких и казался строг и суров, подражая в молчании своем Илии.

Поселяне считали Ермия способным творить чудеса. Он им этого не говорил, но они так верили. Больные приходили, становились в тени его, которую солнце бросало от столпа на землю, и отходили, находя, что чувствуют облегчение. А он все молчал, вперяя ум в молитву или читая на память три миллиона стихов Оригена и двести пятьдесят тысяч стихов Григория, Пиерия и Стефана.

Так проводил Ермий дни, а вечером, когда сваливал пеклый жар и лицо Ермия освежала прохлада, он, окончив свои молитвы и размышления о Боге, думал иногда и о людях. Он размышлял о том: как за эти тридцать лет зло в свете должно было умножиться и как под покровом ханжества и пустосвятства, заменяющего настоящее учение своими выдумками, теперь наверно иссякла уже в людях всякая истинная добродетель и осталась одна форма без содержания.

Впечатления, вынесенные столпником из покинутой им лицемерной столицы, были так неблагоприятны, что он отчаялся за весь мир и не замечал того, что через это отчаяние он унижал и план и цель творения и себя одного почитал совершеннейшим.

Повторяет он наизусть Оригена, а сам думает: «Ну, пусть так – пусть земной мир весь стоит для вечности, и люди в нем, как школяры в школе, готовятся, чтобы явиться в вечности и там показать свои успехи в здешней школе. Но ка-

кие же успехи они покажут, когда живут себялюбиво и злобно, и ничему от Христа не учатся, и языческих навыков не позабывают? Не будет ли вечность впусте?» Пусть утешает Ориген, что не мог же впасть в ошибку Творец, узрев, «яко все добро зело», если оно на самом деле никуда не годится, а Ермию все-таки кажется, что «весь мир лежит во зле», и ум его напрасно старается прозреть: «Кацы суть Богу угождающие и вечность уллучившие?»»

Никак не может Ермий представить себе таковых, кои были бы достойны вечности, все ему кажутся худы, все с злою склонностию в жизнь пришли, а здесь, живучи на земле, еще хуже перепортились.

И окончательно взяло столпника отчаяние, что вечность запустеет, потому что нет людей, достойных перейти в оную.

Глава пятая

И вот однажды, когда, при опускающемся покрове ночи, столпник «усильно подвигся мыслию уведети, кацы суть иже Богу ужожаючи», он приклонился головою к краю расщелины своей скалы, и с ним случилась необыкновенная вещь: повеяло на него тихое, ровное дыхание воздуха, и с тем принесли к его слуху следующие слова:

– Напрасно ты, Ермий, скорбишь и ужасаешься: есть тацы, иже добре Богу ужожают и в книгу жизни вечной вписаны.

Столпник обрадовался сладкому голосу и говорит:

– Господи, если я обрел милость в очах Твоих, то дозвожь, чтобы мне был явлен хоть один такой, и тогда дух мой успокоится за все земное сотворение.

А тонкое дыхание снова дышит на ухо старцу:

– Для этого тебе надо забыть о тех, коих ты знал, и сойти со столпа да посмотреть на человека Памфалона.

С этим дыхание сникло, а старец восклонился и думает: взаправду ли он это слышал или это ему навеяно мечтою? И вот опять проходит холодная ночь, проходит и знойный день, и наступили новые сумерки, и опять поник головою Ермий и слышит:

– Спускайся вниз, Ермий, на землю, тебе надо пойти посмотреть на Памфалона.

– Да кто он такой, этот Памфалон?

– А вот он-то и есть один из тех, каких ты желаешь видеть.

– И где же обитает этот Памфалон?

– Он обитает в Дамаске.

Ермий опять встрепенулся и опять не был уверен, что это ему слышно не в мечте. И тогда он положил в своем уме испытать это дело еще, до трех раз, и ежели и в третий раз будет к нему такая же внятная речь про Памфалона, тогда уже более не сомневаться, а слезать со скалы и идти в Дамаск.

Но только он решил обстоятельно дознаться: что это за Памфалон и как его по Дамаску разыскивать.

Прошел опять знойный день, и с вечернею прохладою снова зазвучало в духе хлада тонка имя Памфалона.

Неведомый голос опять говорит:

– Для чего ты, старец, медлишь, для чего не слезаешь на землю и не идешь в Дамаск смотреть Памфалона?

А старец отвечает:

– Как же могу я идти и искать человека, мне неизвестного?

– Человек тебе назван.

– Назван мне человек Памфалоном, а в таком великом городе, как Дамаск, разве один есть Памфалон? Которого же из них я стану спрашивать?

А в духе хлада тонка опять звучит:

– Это не твоя забота. Ты только скорее слезай вниз да иди в Дамаск, а там уже все знают этого Памфалона, которого тебе надо. Спроси у первого встречного, его тебе всяк пока-

жет. Он всем известен.

Глава шестая

Теперь, после третьего такого переговора, Ермий более уже не сомневался, что это такой голос, которого надо слушаться. А насчет того, к какому именно Памфалону в Дамаске ему надо идти, Ермий более не беспокоился. Памфалон, которого «все знают», без сомнения есть какой-либо прославленный поэт, или воин, или всем известный вельможа. Словом, Ермию размышлять более было не о чем, а на что он сам напросился, то надо идти исполнять.

И вот пришлось Ермию после тридцати лет стояния на одном месте вылезать из каменной расщелины и идти в Дамаск...

Странно, конечно, было такому совершенному отшельнику, как Ермий, идти смотреть человека, живущего в Дамаске, ибо город Дамаск по-тогдашнему в отношении чистоты нравственной был все равно что теперь сказать Париж или Вена – города, которые святостью жизни не славятся, а слынут за гнездилища греха и пороков, но, однако, в древности бывали и не такие странности, и бывало, что посты благочестия посылались именно в места самые злочестивые.

Надо идти в Дамаск! Но тут вспомянул Ермий, что он наг, ибо рубище его, в котором он пришел тридцать лет тому назад, все истлело и спало с его костей. Кожа его изгорела и почернела, глаза одичали, волосы подлезли и выцвели, а когти

отрасли, как у хищной птицы... Как в таком виде показаться в большом и роскошном городе?

Но голос его не перестает руководствовать и раздаётся издали:

– Ничего, Ермий, иди: нагота твоя найдет тебе покрывало.

Взял Ермий свою корзиночку с сухими зернами и тыкву и кинул их вниз на землю, а затем и сам спустился со столпа по той самой веревочке, по которой таскал себе снизу приносимую пищу.

Тело столпника уже так исхудало, что его могла сдержать тонкая и полусгнившая веревочка. Она, правда, потрескивала, но Ермий этого не испугался: он благополучно стал на землю и пошел, колеблясь как ребенок, ибо ноги его отвыкли от движения и потеряли твердость.

И шел Ермий по безлюдной, знойной пустыне очень долго и во весь переход ни разу никого не встретил, а потому и не имел причины стыдиться своей наготы; приближаясь же к Дамаску, он нашел в песках выветрившийся сухой труп и возле него ветхую козью милоть, какие носили тогда иноки, жившие в общежитиях. Ермий засыпал песком кости, а козью милоть надел на свои плечи и обрадовался, увидев в этом особое о нем промышление.

К городу Дамаску Ермий стал приближаться, когда солнце уже начало садиться. Старец немножко не соразмерил ходы и теперь не знал, что ему сделать: поспешать ли скорее идти или не торопиться и подождать лучше утра. Очам каза-

лось близко видно, а ногам пришлось обидно. Поспешал Ермий дойти засветло, а поспел в то самое время, когда красное солнце падает, сумрак густеет и город весь обвивает мглой. Точно он весь в беспроглядный грех погружается.

Страшно сделалось Ермию – хоть назад беги... И опять ему пришла в голову дума: не было ли все, что он слышал о своем путешествии, одною мечтою или даже искушением? Какого праведника можно искать в этом шумном городе? Откуда тут может быть праведность? Не лучше ли будет бежать отсюда назад, влезть опять в свою каменную шелку, да и стоять, не трогаясь с места?

Он было уже и повернулся, да ноги не идут, а в ушах опять «дыхание тонко»:

– Иди же скорей лобызай Памфалона в Дамаске.

Старик снова обернулся к Дамаску, и ноги его пошли.

Пришел Ермий к городской стене как раз в ту минуту, когда городской страж наполовину ворота захлопнул.

Глава седьмая

Насилу успел бедный старик упросить сторожа, чтобы он позволил ему пройти в ворота, и то отдал за это свою корзину и тыкву; а теперь сам совсем безо всего очутился в совершенно ему не знакомом и ужасно многогрешном городе.

Ночи на юге спускаются скоро, сумерек почти нет, и темнота бывает так густа, что ничего нельзя видеть. Улицы в то время, когда было это происшествие, в восточных городах еще не освещались, а жители запирали свои дома рано. Тогда на улицах бывало очень небезопасно, и потому обыватели крепко закрывали все входы в дом, чтобы впотьмах не забрался какой-нибудь лихой человек и не обокрал бы или бы не убил и не сжег дом. Ночью же входов или совсем не отпирали, или же отпирали только запоздавшим своим домашним или друзьям, и то не иначе, как удостоверясь, что стучится именно тот человек, которого впустить надо.

Отворенными поздно оставались только двери развратниц, к которым путь открыт всем, и чем больше идет к ним на свет, тем им лучше.

Старец Ермий, попав в Дамаск среди густой тьмы, решительно не знал: где ему приютиться до утра. Были, конечно, в Дамаске гостиницы, но Ермий не мог ни в одну из них постучаться, потому что там спросят с него плату за ночлег, а он не имел у себя никаких денег.

Остановился Ермий и, размыслив, что бы такое в его положении возможно сделать, решился попроситься ночевать в первый дом, какой попадется.

Так он и сделал: подошел к ближайшему дому и постучался.

Его опросили из-за двери:

– Кто там стучится?

Ермий отвечает:

– Я бедный странник.

– Ах, бедный странник! Немало вас шляется. Чего же тебе надо?

– Прошу приюта.

– Так ты не туда попал. Иди за этим в гостиницу.

– Я беден и не могу платить в гостинице.

– Это плохо, но иди в таком случае к тем, кто тебя знает: они тебя, может быть, пустят.

– Да меня здесь никто не знает.

– А если тебя здесь никто не знает, то не стучи и у нас понапрасну, а уходи скорей прочь.

– Я прошусь во имя Христа.

– Оставь, пожалуйста, оставь это имя. Много вас тут ходит, все Христа вспоминаете, а наместо того лжете и этим именем после всякое зло прикрываете. Уходи прочь, нет у нас для тебя приюта.

Ермий подошел к другому дому и здесь опять стал стучать и проситься.

И здесь тоже опять спрашивают его из-за закрытых дверей:

– Чего тебе надо?

– Изнемогаю, я бедный странник... пустите отдохнуть в доме!

Но опять и тут ему тот же ответ: иди в гостиницу.

– У меня денег нет, – отвечал Ермий и произнес Христово имя, но оно вызвало только укоры.

– Полно, полно выкликать это имя, – отвечали ему из-за дверей второго дома, – все ленивцы и злодеи нынче этим именем прикрываются.

– Ах, – отозвался Ермий, – поверьте, что я никому никакого зла не сделал и не делаю: я пришел прямо из пустыни.

– Ну, если ты из пустыни, то там бы тебе и оставаться. Напрасно ты сюда и пришел.

– Я не своею волею пришел, а имел повеление.

– Ну, так иди к тому, куда позван, а нас оставь в покое; мы тех, кои старцами сказываются и в козых милотях ходят, боимся: вы сами очень святы, а за вами за каждым семь приставных бесов ходит.

«Ого, – подумал Ермий, – как время изменило обычаи! Верно, ныне совсем уже нет старого привета странным. Все уже знают пустынное предание, что за аскетом вслед более бесов ходит, чем за простым грешником, а через это не лучше, а хуже стало. И вот я – пустынный, простоявший тридцать лет, – в тени столпа моего люди получали исцеления, а

меня никто не пускает под крышу, и я не только могу быть убит от злодеев, но еще горше смерти могу быть оскорблен и обесчещен от извративших природу бесстыдников. Нет, теперь я уже ясно вижу, что я поддался насмешке сатаны, что я был послан сюда не для пользы души моей, а для всецелой моей пагубы, как в Содом и Гоморру».

А в это самое время Ермий тоже замечает, что кто-то во тьме спешно перебегает улицу и, смеясь, говорит:

– Ну, насмешил ты меня, старичина!

– Чем это? – спросил Ермий.

– Да как же, ты так глуп, что просишься, чтобы тебя пустили ночевать в дома людей высокородных и богатых! Видно, ты и в самом деле, должно быть, ничего в жизни не понимаешь.

Столпник подумал: «Это, пожалуй, вор или блудодей, а все-таки он разговорчив: дай я его расспрошу, что мне сделать, где найти приют».

– Ну, ты постой-ка, – сказал Ермий, – и кто бы ты ни был, скажи мне, нет ли здесь таких людей, которые известны за человеколюбцев?

– Как же, – отвечает, – есть здесь и таковые.

– Где же они?

– А вот ты сейчас у их домов стучался и с ними разговаривал.

– Ну, значит, их человеколюбство плохо.

– Таковы все показательные человеколюбцы.

– А не известны ли тебе, кои боголюбивы?

– И таковые известны.

– Где же они?

– Эти теперь, по заходе солнечном, на молитву стали.

– Пойду же я к ним.

– Ну, не советую. Боже тебя сохрани, если ты своим стуком помешаешь их стоянию на молитве, тогда слуги их за то свалят тебя на землю и нанесут тебе раны.

Старец всплеснул руками.

– Что же это, – говорит, – человеколюбцев никак в своей нужде не уверишь, а набожных от стояния не отзовешь, ночь же ваша темна, и обычаи ваши ужасны. Увы мне! Увы!

– А ты вместо того чтобы унывать и боголюбцев разыскивать, иди к Памфалону.

– Как ты сказал? – переспросил отшельник и опять получил тот же ответ:

– Иди к Памфалону.

Глава восьмая

Рад был отшельник услышать про Памфалона. Стало быть, шел он недаром. Но кто, однако, сам этот во тьме говорящий: хорошо, если это путеводительный ангел, а может быть, это самый худший бес?

– Мне, – говорит Ермий, – Памфалона и нужно, потому что я к нему послан, но только я не знаю: тот ли это Памфалон, о котором ты говоришь?

– А тебе что о твоём Памфалоне сказано?

– Сказано много, чего я не стану всякому пересказывать, а примета дана такая, что его здесь все знают.

– Ну, а если так, то я говорю о том самом Памфалоне, про которого тебе сказано. Он один только и есть такой Памфалон, которого все знают.

– Почему же он всем так известен?

– А потому, что он приятный человек и всюду с собою веселье ведет. Без него нет здесь ни пира, ни потехи, и всем он любезен. Чуть где пса его серого с длинной мордой слышат, когда он бежит, гремя позвонцами, все радостно говорят: вот Памфалонова Акра бежит! Сейчас, значит, сам Памфалон придет и веселый смех будет.

– А для чего же он пса при себе водит?

– Для большего смеха. Его Акра чудесная, умная и верная собака, она ему людей веселить помогает. А то еще у него

есть разноперая птица, которую он на длинном шесте в обруче носит: тоже и эта дорогого стоит: она и свистом свистит, и шипит по-змеиному.

– Зачем же Памфалону все это нужно – и пес, и разноперая птица?

– Как же – Памфалону без смешных вещей быть невозможно.

– Да кто же такой у вас этот Памфалон?

– А разве ты сам этого не знаешь?

– Не знаю. Я только слышал о нем в пустыне.

Собеседник удивился.

– Вот как! – воскликнул он. – Значит, уже не только в Дамаске и в других городах, а и далеко в пустыне знают нашего Памфалона! Ну, да так тому и следовало быть, потому что такого другого весельчака нет, как наш Памфалон: никто не может без смеха глядеть, как он шутит свои веселые шутки, как он мигает глазами, двигает ушами, перебирает ногами, и свистит, и языком щелкает, и вертит завитой головой.

– Перебирает ногами и вертит головою, – повторил пустынный, – лицедейство, телодвижение и скоки... Да кто же он такой наконец?!

– Скоморох.

– Как?.. Этот Памфалон!.. К кому я иду!.. Он скоморох!

– Ну да, Памфалон скоморох, его потому все и знают, что он по улицам скачет, на площади колесом вертится, и мигает глазами, и перебирает ногами, и вертит головой.

Ермий даже свой пустынный посох из рук уронил и проговорил:

– Сгинь! Сгинь, дьявол, полно тебе надо мной издеваться!

А во тьме говоривший не расслышал этого заклинания и добавил:

– Памфалонов дом сейчас здесь за углом, и у него наверно теперь в окне еще свет светится, потому что он вечером prepares свои скоморошьи снаряды, чтобы делать у геттер представления. А если у него огня нет, так ты впотьмах отсчитай за углом направо третий маленький дом, входи и ночуй. У Памфалона всегда двери отворены.

И с тем говоривший во тьме сник куда-то, как будто его и не бывало.

Глава девятая

Ермий, пораженный тем, что он услышал о Памфалоне, остался в потемках и думает: «Что же мне теперь делать? Это невозможно, чтобы человек, для свидания с которым я снят с моего камня и выведен из пустыни, был скоморох. Какие такие добродетели, достойные вечной жизни, можно заимствовать у комедианта, у лицедея, у фокусника, который кривляется на площадях и потешает гуляк в домах, где пьют вино и предаются беспутствам?»

Непонятно это, а ночь темна, деться некуда, и – надо идти к скомороху.

Ночной приют пустыннику был необходим, потому что хотя он и привык ко всем непогодам, но на улице в городе в тогдашнее время остаться ночью было гораздо опаснее, чем в нынешнее. Тогда и воры грабили, и ходили такие отчаянные люди, каких видали только пред сожжением Содома и Гоморры. Эти были хуже животных и не щадили никого, и всяк мог ожидать себе от них самого гнусного оскорбления.

Ермий все это помнил и потому очень обрадовался, когда только что завернул за угол, как сейчас же увидел приветный огонек. Свет выходил из одного маленького домика и ярко горел во тьме как звездочка. Вероятно, тут и живет скоморох.

Ермий пошел на свет и видит: действительно стоит очень

маленький, низенький домик, а в нем растворенная дверь, и над нею поднята тростниковая циновка, так что все внутрь этого жилья видно.

Жилье невелико – всего один покой, и притом не высокий, но довольно просторный, и в нем все на виду – и хозяин, и хозяйство, и все его рукоделие. И по всему тому, что видно, нетрудно было отгадать, что здесь живет не степенный человек, а именно скоморох.

На серой стене, как раз насупротив раскрытой двери, висела глиняная лампа с длинным рожком, на конце которого горел красным огнем фитиль, питанный жиром. Фитиль этот сильно коптил, и вниз с него падали огненные капли кипящего жира. Вдоль всей стены висели разные странные вещи, которые, впрочем, точнее можно бы назвать хламом. Тут были уборы и сарацынские, и греческие, и египетские, а также были и разнопестрые перья, и звонцы, и трещотки, и накры, и красные шесты, и золоченые обручи. В одном угле вбит был крюк в потолок, а к нему подцеплен тонкий шест, похожий на большое удилище, а на конце того шеста на веревке другой деревянный обруч, а в обруче спит, загнув голову под крыло, пестрая птица. На ноге у нее тонкая цепь, которую она прикована к обручу. В другом же углу загнуты полколесом гнуткие драницы, и за ними задеты бубны, накры, сопели и еще более странные вещи, которых и назначения даже не мог придумать давно не выдавший суеты городской жизни пустынный.

На полу в одном углу постель из циновки, а в другом сундук; на этом сундуке перед скамьей, заменяющею стол, сидит и что-то мастерит сам хозяин жилища.

Вид его странен: он уже человек не молодой, а подстароват, имеет лицо смуглое, добродушное и веселое, с постоянным умеренным выражением и легким блеском глаз, но лицо это раскрашено, а полуседая голова вся завита в мелкие кудри, и на них надет тонкий медный ободок, с которого вниз висят и бренчат блестящие кружочки и звездочки. Таков Памфалон. Сидит он, нагнувшись над скамьей, на которой разбросаны разные скоморошьи приборы, а перед лицом его маленькая глиняная жаровня и паяло. Он дует ртом через паяльную трубку в жаркие угли и закрепляет одно за другое какие-то мелкие кольца и не замечает того, что на него снаружи давно пристально смотрит строгий отшельник.

Но вот лежавшая в тени у ног Памфалона длинномордая серая собака чутьем почуяла близость стороннего человека, подняла свою голову и, заворчав, встала на ноги, а с этим ее движением на ее медном ошейнике зазвонили звонцы, и от них сейчас же проснулась и вынула из-под крыла голову разноперая птица. Она встрепелась и не то свистнула, не то как-то резко проскрипела клювом. Памфалон разогнулся, отнял на минуту губы от паяла и крикнул:

– Молчи, Акра! И ты, Зоя, молчи! Не пугайте досужего человека, который приходит звать нас смешить заскучивших богачей. А ты, легкий посол, – добавил он, возвыся голос, –

от кого ты ни жалуешь, подходи скорее и говори сразу: что тебе нужно?

На это Ермий ему ответил со вздохом:

– О Памфалон!

– Да, да, да; я давно Памфалон – плясун, скоморох, певец, гадатель и все, что кому угодно. Какое из моих дарований тебе надобно?

– Ты ошибся, Памфалон.

– В чем я ошибся, приятель?

– Человеку, который стоит у твоего дома, совсем не нужно этих дарований: я пришел совсем не за тем, чтобы звать тебя за скоморошное игрище.

– Ну что ж за беда! Ночь еще впереди – придет кто-нибудь другой и позовет нас и на игрище, и у меня будет назавтра заработок, для меня и для моей собаки. А тебе-то, однако, что же такое угодно?

– Я прошу у тебя приюта на ночь и желаю с тобою беседовать.

Услышав эти слова, скоморох оглянулся, положил на сундук дрянные кольца и паяло и, расставив над глазами ладонь, проговорил:

– Я не вижу тебя, кто ты такой, да и голос твой незнаком мне... Впрочем, в доме моем и в добре будь волен, как в своем, а насчет бесед... Это ты, должно быть, смеешься надо мною.

– Нет, я не смеюсь, – отвечал Ермий. – Я здесь всем чужой

человек и пришел издалека для беседы с тобою. Свет твоей лампы привлек меня к твоей двери, и я прошу приюта.

– Что же, я рад, что свет моей лампы светит не для одних гуляк. Какой ты ни есть – не стой больше на улице, и если у тебя нет в Дамаске лучшего ночлега, то я прошу тебя, войди ко мне, чтобы я мог тебя успокоить.

– Благодарю, – отвечал Ермий, – и за привет твой пусть благословит тебя Бог, благословивший странноприимный кров Авраама.

– Ну, ну, перестань многословить! Совсем не о чем говорить, а уж ты и за Авраама хватаешься. Бери, старина, дело проще. Много будет, если ты благословишь меня, выходя из моего дома, когда отдохнешь с дороги и успокоишься, а теперь входи скорее: пока я дома, я тебе помогу умыться, а то меня кто-нибудь кликнет на ночную потеху, и мне тогда будет некогда за тобой ухаживать. У нас нынче в упадке делишки: к нам стали заходить чужие скоморохи из Сиракуз; так сладко поют и играют на арфах, что перебили у нас всю самую лучшую работу. Ничего нельзя упускать: надо сразу бежать, куда кликнут, а теперь как раз такой час, когда богатые и знатные гости приходят попить к веселым гетерам.

«Проклятый час», – подумал Ермий.

А Памфалон продолжал:

– Ну, входи же, сделай милость, и не обращай вниманья на мою собаку: это Акра, это мой верный пес, мой товарищ, – Акра живет не для страха, а так же, как я, – для потехи. Вхо-

ди ко мне, путник.

С этим Памфалон протянул гостю обе руки и, сведя его по ступенькам с уличной тьмы в освещенную комнату, мгновенно отскочил от него в ужасе.

Так страшен и дик показался ему вошедший пустынный!

Прежний вельможа, простояв тридцать лет под ветром и пламенным солнцем, изнеможил в себе вид человеческий. Глаза его совсем обесцветились, изгоревшее тело его все почернело и присохло к остову, руки и ноги его иссохли, и отросшие ногти загнулись и впились в ладони, а на голове остался один клочок волос, и цвет этих волос был не белый, и не желтый, и даже не празелень, а голубоватый, как утиное яйцо, и этот клочок торчал на самой середине головы, точно хохол на селезне.

В изумлении стояли друг перед другом два эти совсем не сходные человека: один скоморох, скрывший свой натуральный вид лица под красками, а другой – весь излинявший пустынный. На них смотрели длинномордая собака и разноперая птица. И все молчали. А Ермий пришел к Памфалону не для молчания, а для беседы, и для великой беседы.

Глава десятая

Оправился первый Памфалон.

Заметив, что Ермий не имел на себе никакой ноши, Памфалон с недоумением спросил его:

– Где же твоя кошница и тыква?

– Со мной нет ничего, – отвечал отшельник.

– Ну, слава Богу, что у меня сегодня есть чем тебя угостить.

– Мне ничего и не надо, – перебил старец, – я пришел не за угощением. Мне нужно знать, как ты угождаешь Богу?

– Что такое?

– Как ты угождаешь Богу?

– Что ты, что ты, старец! Какое от меня угождение Богу! Да мне об этом даже и думать нельзя.

– Отчего тебе нельзя думать? О своем спасении всяк должен думать. Ничего для человека не может быть так дорого, как его спасение. А спасение невозможно без того, чтобы угодить Богу.

Памфалон его выслушал, улыбнулся и отвечал:

– Эх, отец, отец! Если бы ты знал, как мне смешно тебя слушать. Видно, и вправду давно ты из мира.

– Да, я из мира давно; я тридцать лет уже не был между людьми, но все-таки что я говорю, то истинно и согласно с верой.

– А я, – отвечал Памфалон, – с тобою не спорю, но говорю тебе, что я человек очень непостоянной жизни, я ремеслом скоморох и не о благочестии размышляю, а я скачу, верчусь, играю, руками плещу, глазами мигаю, выкручиваю ногами и трясую головой, чтобы мне дали что-нибудь за мое посмешище. О каком богоугождении я могу думать в такой жизни!

– Отчего же ты не оставишь эту жизнь и не начнешь вести лучшую?

– А, друг любезный, я уже это пробовал.

– И что же?

– Не удается.

– Еще раз попробуй.

– Нет, уж теперь и пробовать нечего.

– Отчего?

– Оттого, что я на сих днях упустил такой случай для исправления моей жизни, какого уже лучше и быть не может.

– Почему ты знаешь? По-твоему не может быть, а у Бога все возможно.

– Нет, ты про это со мною, пожалуйста, лучше не говори, потому что я даже и не хочу более искушать Бога, если я не умею пользоваться Его милостями. Я себя сам оставил без спасения, и пусть так и будет.

– Так ты, значит, отчаянный?

– Нет, я не отчаянный, а только я беззаботный и веселый человек, и разговаривать со мною о вере... просто даже некстати.

Ермий покачал головой и говорит:

– В чем же, однако, состоит твоя вера, веселый беззаботный человек?

– Я верю, что я сам из себя ничего хорошего сделать не сумею, а если Создавший меня сам что-нибудь лучшее из меня со временем сделает, ну так это Его дело. Он всех удивить может.

– А отчего же ты сам о себе не заботишься?

– Некогда.

– Как это некогда?

– Да так, я живу в суете, а когда нарочито соберусь спастись, то на меня нападает тоска, и вместо хорошего еще хуже выходит.

– Ты говоришь несообразное.

– Нет, это правда. Когда я размыслюсь, то от моего слабого характера стану тревожен и опять сам все разрушу и стану на свою скоморошью степень.

– Ну, так ты человек пропащий.

– Очень может быть.

– И я думаю, что ты совсем не тот Памфалон, которого мне надобно.

– Я не могу тебе на это ответить, – отвечал скоморох, – но только мне кажется, что на этот час, когда я так счастлив, что могу послужить твоей страннической нужде, я теперь, пожалуй, как раз тот Памфалон, который тебе нужен, а что тебе дальше нужно будет, о том завтра узнаем. Теперь же я

умою твои ноги, и ты покушай, что у меня есть, и ложись спать, а я пойду скоморошить.

– Мне нужно бесед твоих.

– Бесед! – опять воскликнул Памфалон.

– Да, мне нужно бесед твоих, я для них пришел и не отступлю от тебя.

Памфалон поглядел на старца, потрогал его за его синий хохолок и потом вдруг расхохотался.

– Что же это тебе, весельчак, так смешно в словах моих? – спросил Ермий. А Памфалон отвечал:

– Прости мне мое безумство. Я это по привычке шутить рассмеялся. Ты хочешь не отступить от меня, а я подумал, что мне, пожалуй, и хорошо бы взять тебя и поводить с собою по городу. Мне бы было выгодно водить тебя напоказ по Дамаску. На тебя бы все глядеть собирались, но мне стыдно, что я так о тебе подумал, и пусть же и тебе будет стыдно надо мною смеяться.

– Я ни над кем не смеюсь, Памфалон.

– Так зачем же ты говоришь, что хочешь от меня бесед для своего научения? Какие научения могу дать я, дрянной скоморох, тебе, мужу, имевшему силу рассуждать о Боге и о людях в святом безмолвии пустыни? Господь меня не лишил совсем святейшего дара Своего – разума, и я знаю разницу, какая есть между мною и тобою. Не оскорбляй же меня, старик, позволь мне омыть твои ноги и почивай на моей постели.

– Хорошо, – сказал Ермий, – ты хозяин в своем доме и делай что хочешь.

Памфалон принес лохань свежей воды и, омыв ноги гостя, подал ему есть, а потом уложил в постель и промолвил:

– Завтра будем говорить с тобою. А теперь об одном тебя попрошу: не тревожься, если кто-нибудь из подгулявших людей станет стучать ко мне в дверь или бросать что-нибудь в стену. Это ничего другого не значит, как празднолюбцы зовут меня потешать их.

– И ты встаешь и уходишь?

– Да, я иду во всякое время.

– И неужто тыходишь повсюду?

– Конечно, повсюду: я ведь скоморох и не могу разбирать места.

– Бедный Памфалон!

– Как быть, мой отец! Мудрецы и философы моего мастерства не требуют, а требуют его празднолюбцы. Я хожу на площади, стою у ристалищ, верчусь на пирах, бываю в загородных рощах, где гуляют молодые богачи, а больше все по ночам бываю в домах у веселых гетер...

При последнем слове Ермий едва не заплакал и еще жалостнее воскликнул:

– Бедный Памфалон!

– Что делать, – отвечал скоморох, – я действительно очень беден. Я ведь сын греха и как во грехе зачат, так с грешниками и вырос. Ничему другому я, кроме скоморошества, не

научен, а в мире должен был жить потому, что здесь жила во грехе зачавшая и родившая меня мать моя. Я не мог снести, чтобы мать моя протянула к чужому человеку руку за хлебом, и кормил ее своим скоморошеством.

– А где же теперь твоя мать?

– Я верю, что она у Бога. Она умерла на той же постели, где ты лежишь теперь.

– Тебя любят в Дамаске?

– Не знаю, что есть слово «любят», но меня, пожалуй, и любят, и кидают мне деньги за мои забавы, и угощают меня за своими столами. Я пью на чужой счет дорогое вино и плачу за него моими шутками.

– Ты пьешь вино?

– О да, что я пью вино и люблю его пить, в том нет никакого сомнения. Да без этого и нельзя для человека, который держится веселой компании.

– Кто же тебя приучил к этой компании?

– Случай, или, лучше тебе сказать, я не умею объяснить этого твоему благочестию. Мать моя в молодости была весела и прекрасна. Отец мой был знатный человек. Он меня бросил, а другие из степенных людей никто меня не взяли, взял меня такой же, как я, скоморох и много меня бил и ломал, но все-таки спасибо ему – он меня выучил своему делу, и теперь никто лучше меня не кинет вверх колец, чтобы они на лету сошлись; никто так не щелкает языком, не строит рож, не плещет руками, и не митушует ногами, и не тростит

ГОЛОВОЙ.

– И тебе это ремесло еще не омерзело?

– Нет, оно часто мне не нравится, особенно когда я вижу, как проводят у гетер время вельможи, которым надо бы думать о счастье народа, и когда в веселые дома приводят цветущую юность, но я в этом воспитан и этим одним только умею добывать себе хлеб.

– Бедный, бедный Памфалон! Смотри, вот уже и голова твоя забелелась, а ты все до сей поры плещешь руками, и семенишь ногами, и тростишь головой у погибших блудниц. Ты сам погибнешь с ними.

А Памфалон отвечал:

– Не жалею меня, что я выкручиваю ногами и верчусь у гетер. Гетеры грешницы, но бывают к нам, слабым людям, жалостливы. Когда их гости упыются, они сами ходят и сами для нас от гуляк собирают даянье, и даже порою с излишком и с ласкою для нас просят.

И заметив, что Ермий отвернулся, Памфалон тронул его ласково за плечо и молвил с уветом:

– Верь мне, почтенный старик, что живое всегда живым остается, и у гетер часто бьется в груди прекрасное сердце. А печально нам быть на пирах у богатых господ. Вот там часто встречаются скверные люди; они горды, надменны и веселья хотят, а свободного смеха и шуток не терпят. Там требуют того, чего естество человеческое стыдится, там угрожают ударением и ранами, там щиплют мою разноперую птицу,

там дуют и плюют в нос моей собаке Акре. Там ни во что вменяют все обиды для низших и наутро... ходят молиться для вида.

– О горе! О горе! – прошептал Ермий. – Вижу, что он даже совсем еще далек от того, чтобы понимать, в чем погряз, но его ум и его естество, может быть, добры... Потому я, верно, для того к нему и послан, чтобы вывести его одаренную душу на иную путину.

И сказал он ему вдохновенно:

– Брось свое гадкое ремесло, Памфалон.

А тот ему спокойно ответил:

– Очень бы рад, да не могу.

– Произнеси глагол к Богу, и Он тебе поможет.

Памфалон вздрогнул и упавшим голосом молвил:

– Глагол!.. Зачем ты читаешь в душе моей то, о чем я хочу позабыть!

– Ага! Ты, верно, уже давал обет и опять его нарушил?

– Да, ты отгадал: я сделал это дурное дело – я давал обет.

– Почему же ты называешь обет дурным делом?

– Потому, что христианам запрещено клясться и обещаться, а я, какой ни есть, все же христианин, и, однако, я давал обет и его нарушил. А теперь я знаю, что разве может слабый человек давать обет Всемогущему, Который предоставил, чем ему быть, и мнет его, как горшечник мнет глину на кружале? Да, знай, старичок, знай, что я имел возможность бросить скomorошество и не бросил.

– И почему же ты не бросил?

– Не мог.

– Что у тебя за ответ: все ты «не мог»! Почему ты и мог и не мог?

– Да, и мог и не мог, потому что... я небрежлив – я не могу о своей душе думать, когда есть кто-нибудь, кому надо помочь.

Старец приподнялся на ложе и, вперив глаза в скомороха, воскликнул:

– Что ты сказал?! Ты ни во что считаешь погубить свою душу на бесконечные веки веков, лишь бы сделать что-нибудь в сей быстрой жизни для другого! Да ты имеешь ли понятие о ярящемся пламени ада и о глубине вечной ночи?

Скоморох усмехнулся и сказал:

– Нет, я ничего не знаю об этом. Да и как я могу знать о жизни мертвых, когда я не знаю даже всего о живых? А ты знаешь о тартаре, старец?

– Конечно!

– А между тем, я вижу, и ты не знаешь о многом, что есть на земле. Мне это странно. Я тебе говорю, что я человек негодный, а ты мне не веришь. А я не поверю тебе, что ты знаешь о мертвых.

– Несчастный! Да ты имеешь ли даже понятие о Самом Божестве?

– Имею, только очень малые понятия, но в том не ожидаю себе великого осуждения, потому что я ведь не вырос в бла-

городной семье, я не слушал уроков у схоластиков в Византии.

– Бога можно знать и служить Ему без науки схоластиков.

– Я с тобою согласен и так всегда говорил в уме с Богом: Ты Творец, а я тварь – мне Тебя не понять, Ты меня всунул для чего в эту кожаную ризу и бросил сюда на землю трудиться, я и таскаюсь по земле, ползаю, тружусь. Хотел бы узнать: для чего это все так мудрено сотворено, да я не хочу быть как ленивый раб, чтобы о Тебе со всеми пересуживать. Я буду Тебе просто покорен и не стану разузнавать, что Ты думаешь, а просто возьму и исполню, что Твой перст начертал в моем сердце! А если дурно сделаю – Ты прости, потому что ведь это Ты меня создал с жалостным сердцем. Я с ним и живу.

– И ты на этом надеешься оправдаться!

– Ах, я ни на что не надеюсь, а я просто ничего не боюсь.

– Как! Ты и Бога не боишься?!

Памфалон пожал плечами и ответил:

– Право, не боюсь: я Его люблю.

– Лучше трепещи!

– Зачем? Ты разве трепещешь?

– Трепетал.

– И нынче устал?

– Я уже не тот, что был прежде когда-то.

– Наверно, ты сделался лучше?

– Не знаю.

– Это ты хорошо сказал. Знает тот, кто со стороны смотрит, а не тот, кто свое дело делает. Кто делает, тому на себя не видно.

– А ты себя когда-нибудь чувствовал хорошо?

Памфалон промолчал.

– Я умоляю тебя, – повторил Ермий, – скажи мне, ты когда-нибудь чувствовал себя хорошо?

– Да, – отвечал скоморох, – я чувствовал...

– А когда это было?

– Представь, это было именно в тот самый час, когда я себя от Него удалил...

– Боже! Что говорит этот безумец!

– Я говорю сущую правду.

– Но чем и как ты отдалил себя от Бога?

– Я это сделал за единый вздох.

– Ответь же мне, что ты сделал?

Памфалон хотел отвечать, что с ним было, но в это самое мгновение циновку, которою была завешена дверь, откинули две молодые смуглые женские руки в запястьях, и два звонкие женские голоса сразу наперебой заговорили:

– Памфалон, смехотворный Памфалон! Скорей поднимайся и иди с нами. Мы бежали впотьмах бегом за тобою от нашей гетеры... Спеши скорей, у нас полон грот и аллеи богатых гостей из Коринфа. Бери с собой кольца, и струны, и Акру, и птицу. Ты нынче в ночь можешь много заработать за свое смехотворство и хоть немножко вернешь свою боль-

шую потерю.

Ермий взглянул на этих женщин, и их лоснящаяся теплая кожа, их полурастворенные рты и замутившиеся глаза с обращенным в пространство взором, совершенное отсутствие мысли на лицах и запах их страстного тела сшибли его. Пустыннику показалось, что он слышит даже глухой рокот крови в их жилах, и в отдалении топот копыт, и сопенье, и запах острого пота Силена.

Ермий затрясся от страха, завернулся к стене и закрыл свою голову рогожей.

А Памфалон тихо молвил, нагнувшись в его сторону:

– Вот видишь, досуг ли мне размышлять о высоком! – И, сразу же переменив тон на громкий и веселый, он отвечал женщинам: – Сейчас, сейчас иду к вам, мои нильские змейки.

Памфалон свистнул свою Акру, взял шест, на котором в обруче сидела его пестрая птица, и, захватив другие свои коморошьи снаряды, ушел, загасив лампу.

Ермий остался один в пустом жилище.

Глава одиннадцатая

Ермий не скоро позабылся сном. Он долго размышлял: как ему согласить в своем понятии то, для чего он шел сюда, с тем, что здесь находит. Конечно, можно сразу видеть, что скоморох человек доброго сердца, но все же он человек легкомысленный: он потехи множит, руками плещет, ногами танцует и тростит головой, а оставить эти бесовские потехи не желает. Да и может ли он сделать это, так далеко затянувшись в разгульную жизнь? Вот где он, например, находится теперь, после того как ушел с этими бесстыжими женщинами, после которых еще стоит в воздухе рокотанье их крови и веянье страстного пота Силена?

Если таковы были посланницы, то какова же должна быть та, которой они служат в ее развращенном доме!..

Отшельник содрогнулся.

Для чего же было ему, после тридцати лет стояния, слезать со скалы, идти многие дни с страшной истомой, чтобы прийти и увидеть в Дамаске... ту же темную скверну греха, от которой он бежал из Византии? Нет, верно, не Ангел Божий его сюда послал, а искусительный демон! Нечего больше и думать об этом, надо сейчас же встать и бежать.

Тяжело было старцу подняться – ноги его устали, путь далек, пустыня жарка и исполнена страхов, но он не пощадил своего тела... он встает, он бредет во тьме по стогам Дамас-

ка, пробегает их: песни, пьяный звон чаш из домов, и страстные вздохи нимф, и самый Силен – все напротив его, как волна прибоя; но ногам его дана небывалая сила и бодрость. Он бежит, бежит, видит свою скалу, хватается за ее кремнистые ребра, хочет влезть в свою расщелину, но чья-то страшно могучая рука срывает его за ноги вниз и ставит на землю, а незримый голос грозно говорит ему:

– Не отступай от Памфалона, проси его рассказать тебе, как он совершил дело своего спасения.

И с этим Ермия так дунуло вспять, что он едва не задохся от бури, и, открыв глаза, видит день, и он опять в жилище Памфалона, и сам скоморох тут лежит, упав на голом полу, и спит, а его пес и разноперая птица дремлют...

Возле изголовья Ермия стояли два сосуда из глины – один с водою, другой с молоком, и на свежих зеленых листьях мягкий козий сыр и сочные фрукты.

Ничего этого с вечера здесь не было...

Значит, пустынный спал крепко, а его усталый хозяин, когда возвратился, еще не прямо лег спать, а прежде послужил своему гостю.

Скоморох поставил гостю все, что где-то достал, чтобы гость утром встал и мог подкрепиться...

Ни сыру, ни плодов в доме у Памфалона не было, а все это, очевидно, ему было дано там, где он вертелся и тешил гуляк у гетеры.

Он взял подачку от гетеры и принес это страннику.

«Чудак мой хозяин», – подумал Ермий и, встав с постели, подошел к Памфалону, взглянул в лицо его и засмотрелся. Вчера вечером он видел Памфалона при лампе и готового на скоморошество, с завитою головою и с лицом, разрисованным красками, а теперь скоморох спал, смыв с себя скоморошье мазанье, и лицо у него было тихое и прекрасное. Ермию казалось, будто это совсем не человек, а ангел.

«Что же, – подумал Ермий, – может быть, я не обманут; может быть, не было надо мной искушения, а это именно тот самый Памфалон, который совершеннее меня и у которого мне надо чему-то научиться. Боже! Как это узнать? Как разрешить это сомнение?»

И старик заплакал, опустился перед скоморохом на колени и, обняв его голову, стал звать со слезами его по имени.

Памфалон проснулся и спросил:

– Что тебе угодно от меня, мой отец?

Но увидев, что старец плачет, Памфалон встревожился, спешно встал и начал говорить:

– Зачем я вижу слезы на старом лице твоём? Не обидели тебя кто-нибудь?

А Ермий ему отвечает:

– Никто меня не обидел, кроме тебя, потому что я пришел к тебе из моей пустыни, чтобы узнать от тебя для себя полезное, а ты не хочешь сказать мне: чем ты угождаешь Богу; не скрывайся и не мучь меня: я вижу, что живешь ты в жизни суетной, но мне о тебе явлено, что ты Богу любезен.

Памфалон задумался и потом говорит:

– Поверь, старик, что в моей жизни нет ничего такого, что бы можно взять в похвалу, а, напротив, все скверно.

– Да ты, может быть, сам не знаешь?

– Ну, как не знать! Я знаю, что живу, как ты сам видишь, в суете, и вдобавок еще имею такое дрянное сердце, которое даже не допускает меня стать на лучшую степень.

– Ну вот скажи мне хоть об этом: какой вред сделало тебе твое сердце и как оно не допускает тебя стать на иной степень? Как это было, что ты почувствовал себя хорошо, когда сделал дурно?

– Ага! Про это изволь, – отвечал Памфалон, – если ты так уже непременно этого требуешь, то я тебе расскажу этот случай, но только ты после моего рассказа, наверно, не захочешь ко мне возвратиться. Восстанем же лучше и пойдем отсюда за город, в поле: там, на свободе, я расскажу тебе про то происшествие, которое совсем меня отдалило от надежды исправления.

– Пойдем, Бога ради, скорее, – отвечал Ермий, покрываясь своими ветхими лохмотьями.

Они оба вышли за город, сели над диким обрывистым рвом, у ног их легла Акра, и Памфалон начал сказывать.

Глава двенадцатая

– Ни за что я не стал бы тебе рассказывать, – начал Памфалон, – о чем ты меня просишь, но как ты непременно хочешь считать меня за хорошего человека, а мне от этого стыдно, потому что я этого не стою, а стою одного лишь презренья, то я расскажу. Я большой грешник и бражник, но, что всего хуже еще, я обманщик, и не простой обманщик: а я обманул Бога в данном Ему обете как раз в то самое время, когда получил невероятным образом возможность обет свой исполнить. Слушай, пожалуйста, и суди меня строго. Я желаю в твоём суде получить целебную рану, какую заслужил себе в наказание. Нечистоту моей скоморошьей жизни ты видел, и все дальнейшее посему понять можешь. Кругом я грязен и скверен. Я тебе правду сказал, что рассуждать о Божественном я не научен и по жизни моей мне редко когда это приходится на мысль, но ты прозорлив – бывали случаи, что и я о своей душе думал. Вертишься ночь бражникам на потеху, а когда перед утром домой возвращаешься, и задумаешься: стоит ли этак жить? Гресишь для того, чтобы пропитаться, и питаешься для того, чтоб грешить. Все так и вертится. Но человек ведь, отче, лукав и во всяком своем положении ищет себе смоковничьи листья, чтобы прикрыть свою срамоту. Таков же и я: и я себе не раз думал: я в грехе погряз от нужды, я что добуду, тем едва пропитаюсь; вот если бы у меня сразу

случились такие деньги, чтобы я мог купить хоть очень малое поле и работать на нем, так тогда бы я сейчас же оставил свое скоморошье и стал бы жить, как другие, степенные люди. Да не мог я этого достичь, и не потому, чтобы никогда в мои руки денег не попадало, нет, деньги бывали, а всегда что-нибудь такое случалось, что я не успею собрать сколько нужно, как уже все собранное и растрочу; случится кто-нибудь в горе, и мне его станет жаль, и я промотаюсь. Если бы мне враз пришло в руки много денег, тогда бы я, наверно, скоморошество оставил и перешел на степенность, а шить лоскут к лоскуту я не умею. Зачем меня Бог так устроил? Но если Он щедрой рукой когда-нибудь враз мне поможет – ну, тогда я воздержусь и стану жить хорошо, как прочие благородные люди, которых почитают и монахи, и клирики, и все ожидающие себе Царствия Небесного.

И что же ты думаешь! Точно как с того будто слова случилось: вдруг выпал мне такой удивительный случай, о каком, казалось, невозможно было и думать. Слушай прилежно меня и суди меня строго.

Вот что было раз в моей жизни.

Был я позван однажды тешить гостей у одной здешней гетеры Азеллы. Она немолода, но ее красота долголетняя, и Азелла всех здесь красивей, пышней и умнее. Гости было много, и все чужеземцы из Рима и хвастуны-богачи из Коринфа. Все упивались вином и меня беспрестанно заставляли играть им и петь. Другие хотели, чтобы я смешил их, и

я всем угождал, как хотели. А когда я уставал, они не желали этого знать и надо мною обидно смеялись, толкали, насильно поили вином, в которое сыпали неприятную подмесь; обливали меня и злили мою бедную Акру. Они дергали ее за ляжки и плевали ей в нос, а когда Акра рычала, они ее били и даже грозились убить; я все это сносил, лишь бы побольше от них заработать, потому что, признаюсь тебе, мне надобно было тогда отправить на родину одного калеку-воина. Зато умная гетера Азелла, видя, как меня обижали, обратила это все в мою пользу: она раскрыла свою тунику и заставила всех кинуть мне несколько денег, гости же спьяну набросали мне много, а особенно один, горделивый и тучный Ор-коринфянин, с надутым брюхом, без шеи. Ор громко сказал:

– Покажи мне, Азелла, много ли золота все положили в твою тунику.

Она показала.

Ор же взглянул и, скосивши лицо с надменной усмешкой на римлян, добавил:

– Слушай меня, что скажу я, Азелла: прогони сейчас от себя всех этих гостей и возьми за то у слуги моего вдсятеро против того, что они все положили твоему скомороху.

Азелла сказала гостям:

– Мудрые люди, фортуна спускается к смертным не часто, а к Памфалону она еще во всю жизнь не сходила. Дайте ей место, а сами идите спокойно ко сну.

Недовольные гости ушли, а Азелла проводила меня по-

следнего и дала мне так много денег, что я не мог счесть их, а утром, когда стал сосчитывать, насчитал двести тридцать златниц. Я и обрадовался, и вместе с тем испугался.

«Вот, – подумал я, – случай, после которого я уже не должен более служить скоморошьям потехам. Это точно Бог внял моему обещанию. Никогда еще у меня не бывало зараз столько денег. Довольно же меня всем обижать и надо мной насмеяться. Теперь я не бедняк. За эти деньги я вчера снес большие обиды, но зато вперед этого больше не будет. Конец скоморошью! Я отыщу себе небольшое поле с ключом чистой воды и с многолиственной пальмой. Куплю это поле и стану жить честно, как все люди, с которыми не стыдятся вести знакомство ни клир, ни монахи».

И я предался разнородным мечтаньям, стал любоваться собою, как я буду жить достойною жизнью: буду рано утром вставать, а не то что теперь – только утром ложиться; не буду свистать, а стану петь псалмы; буду днем работать в своем винограднике, а вечером сяду у своего ручья под своей пальмой и стану размышлять о своей душе да выглядывать путника. А покажется путник, я поднимусь и пойду ему навстречу, приглашу его к себе, приму его в дом, успокою, угощу и потом поведу с ним в тишине под звездным небом беседу о Боге. Переменится совсем к лучшему жизнь моя, и не буду я скоморохом в старости, когда оскудеют мои силы. А чтобы решение мое еще более окрепло и слабость ко мне ниотколь не подкралась, я завязал себе руки неразрывною

цепью... Я сделал то, о чем ты говорил, я поклялся с этого
раза стать совсем иным человеком; но послушай же, что за-
тем случилось и перед чем я не устоял в клятве и обещании.

Глава тринадцатая

Чтобы ничего не истратить, я не пошел отправлять домой убогого воина, а зарыл все мои деньги в землю у себя под изголовьем и утром не поднимал моей циновки. Я притворился больным и не хотел ни одного раза больше идти на гульбу с бражниками. Всем, кто приходил меня звать, я отвечал, что я болен и пойду за город в горы подышать свежим воздухом и поискать на болезнь мою целебную траву. А сам пробрался потихоньку к сводчику, к жиду Капитону, который знает все, где что продается, и просил его отыскать мне хорошее поле с водою и с пальмовой тенью. Капитон-сводчик меня сразу обрадовал.

– Есть, – говорит, – у меня на виду как раз то, что тебе нужно.

И описал мне продажное поле так хорошо, как я сам не умел о нем и подумать. Есть там и ключ, и пальма, да еще и бальзамный куст, от которого струит ароматом на целое поприще.

– Иди, – говорю, – и купи мне скорей это поле.

Жид обещал все устроить.

«Вот, – думал я, – теперь уже совсем наступает конец моей беспорядочной жизни, теперь я брошу все мои крики и свисты, сниму все смешные наряды, надену на себя степенный левитон, покрою голову платом и буду работать день на

поле, а вечером стану сидеть у своей кущи и подражать гостеприимству Авраама».

Но не скрою от тебя – во все это время я ощущал беспокойство. Все мне казалось, что ничего того, что я затеял, не будет.

На обратном пути от Капитона объял меня страх: не узнал ли кто, что я получил деньги от гордого коринфянина, и не пришел ли без меня и не украл ли моих денег из того места, где я их зарыл у себя под постелью?.. Побегал я домой шибко, в тревоге, какой ранее никогда еще не знал, а прибежав, сейчас же прилег на землю, раскопал свою похоронку и пересчитал деньги: все двести тридцать златниц, которые бросил мне гордый Ор-коринфянин, были целы, и я взял и опять их зарыл и сам лег на них, как собака.

И хочешь ли знать, кого я боялся? Мне страшно было не одних тех воров, что ходят и крадут, а я боялся и того вора, что жил вечно со мной в моем сердце. Я не хотел знать ни о чем несчастье, чтобы оно не лишило меня той твердости, которая нужна человеку, желающему исправить путь своей собственной жизни, не обращая внимания на то, что где-нибудь делается с другими. Я не виноват в их несчастиях.

А так как я, ходя к Капитону и возвращаясь назад, изрядно устал, то меня одолел сон, но и сон этот был тоже исполнен тревоги: то я видел, что давно уже купил себе сказанное Капитоном поле, и живу уже в светлом доме, и близко меня журчит родник свежей воды, и бальзамный куст мне точит

аромат, и ветвистая пальма меня отеняет. То во всей этой красоте все что-то портит: в роднике я вижу бездну пиявиц, вокруг пальмы прыгают огромные жабы, а под самым бальзамным кустом извивается аспид. Увидав аспида, я так испугался, что даже проснулся, и сейчас подумал: целы ли мои деньги? Они были целы – я лежал на них, и никто их не мог взять без насилия. И вот мне пришла мысль, что богатство, которое мне бросил Ор у Азеллы, вероятно, не осталось до сих пор тайной в Дамаске. Не с тем кинул мне деньги на пиру у гетеры гордый коринфянин Ор, чтобы это оставалось в тайне. Он, конечно, для того только это и сделал, чтобы все завидовали его богатству и распускали молву, которая лестна для его гордости. И вот теперь люди узнают, что у меня есть деньги, и придут ко мне ночью и меня ограбят и избьют, а если я стану им сопротивляться, то они совсем убьют меня.

А как у меня циновка была опущена, то в горнице стало нестерпимо душно и я подошел приподнять циновку и вижу, что по улице идут два малолетних мальчика с корзинами, полными хлеба, а перед ними осел, который тоже нагружен такими же корзинами с хлебом. Мальчишки погоняют осла и разговаривают между собою... обо мне!

– Вот, – говорит один, – наш Памфалон нынче уже и циновки своей не открывает.

– Да зачем ему теперь открывать ее, – отвечает другой, – ему больше не нужно кривляться: он богач – может спать сколько захочет. Ты ведь, я думаю, слышал, что рассказыва-

ли все, которые приходили сегодня к нам в пекарню за хлебом.

– Как же, как же, я даже так заслушался, что хозяин дал мне за это во всю ладонь подзатыльник. Какой-то гордец из Коринфа, чтобы унижить наших дамасских богачей, бросил Памфалону у гетеры Азеллы десять тысяч златниц. Он теперь купит дом, и сады, и невольниц и будет лежать у фонтана.

– Не десять, а двадцать тысяч златниц, – поправил другой, – и притом деньги эти были еще в ящике, осыпанном перлами. Он купит, наверное, поле с чертогом, поставит вокруг себя самых красивых мальчиков с опахалами и станет собирать разных ученых и заставляя их рассуждать на разных языках о Святом Духе.

Из этого разговора мальчиков, развозивших хлеб из пекарни, я узнал, что случай моего неожиданного обогащения уже известен всему Дамаску, а притом и самая сумма, которую я обладал по прихоти горделивого Ора, была более чем в десять раз преувеличена.

Да и кто мог наверно знать, что сумма, брошенная мне гордецом Ором, заключалась менее чем в трехстах литрах, а совсем не в двадцати тысячах златниц? Конечно, это знал только один я, потому что и сам Ор, без сомнения, не считал того, что он мне кинул.

Но и это было еще маловажно в сравнении с тем, чем закончили свой разговор проходившие мальчики. Один из них

продолжал, будто всех очень занимает: куда я спрятал теперь такое богатство, как двадцать тысяч златниц? Особенно же этим будто интересовался флейтщик Аммун, отчаянный головорез, который прежде был воином в двух взаимно враждовавших армиях, потом разбойником, убивавшим богомольцев, а после еще монахом в Нитрийской пустыне и, наконец, явился сюда к нам в Дамаск с флейтою и черной блудницей, завернутой в милоть нитрийского брата. Брата он, верно, убил, а блудницу продал в веселый дом нагишом, а милотью обтирал долго пыль и грязь с ног гуляк, подходящих вечерами к порогам гетер. Он также часто играл на своей флейте при моих представлениях, но еще чаще гетеры отгоняли его. Аммун сам был виноват, потому что он без стыда начал румянить себе щеки и наводить брови как особа обоего пола. Этим он сделался мерзок для женщин, как их соперник. Меня Аммун страшно ненавидел. Я даже знал, что он уже несколько раз научал пьяных людей напасть на меня ночью и сделать мне вред.

Теперь желанье сделать мне вред в Аммуне, конечно, должно было усилиться, а его старинные разбойничьи навыки могли помочь ему привести задуманное им злодейство в исполнение. У него уже было золото, и он брал себе людей в кабалу и заставлял их делать, что скажет.

Глава четырнадцатая

Мысль об опасности, угрожающей мне от Аммуна, пролетела в моей голове как молния и так овладела мною, что даже помешала мне отнять рогожу от окна и воротить прошедших мимо мальчиков, у которых мне надо было купить для себя свежих хлебов.

Скача и вертясь за то, что мне кинут, я всегда был сыт и даже очень нередко подкреплял себя вволю вином, а теперь, когда у меня было золото, я впервые провел весь день и без пищи и без глотка вина, а притом еще и в тревоге, которая возрастала так же быстро, как быстро сгущаются наши сумерки, переходящие в темную ночь.

Мне было не до пищи: я страшился за целостность моего богатства и за мою жизнь: флейтщик Аммуна так и стоял с своими кабальными перед глазами напуганной души моей. Я думал, это непременно так и есть: вот он днем обегал уже всех подобных ему, согласных на злодейства, и теперь, при наступающей темноте, все они собрались в какой-нибудь пещере или корчемнице, а как совсем стемнеет, они придут сюда, чтобы взять от меня двадцать тысяч златниц. Когда же они не найдут у меня столько, сколько думают, то они не поверят, что коринфянин Ор не дарил мне такой суммы, и станут меня жечь и пытаться.

И тут вдруг я, к ужасу своему, вспомнил, что я никогда

как следует не заботился о крепости запоров для своего бедного жилища... Я закрывал его на время моего отсутствия более только для вида, а ночью часто спал, даже совсем не положив болтов ни на двери мои, ни на окна.

Теперь это не годилось, и как время уже совсем приблизилось к ночи, то надо было поспешить все пересмотреть и что можно поскорее приладить, чтобы не так легко было ко мне ворваться.

Я придумал, как можно подпереть изнутри мою дверь, но только что стал это подстроивать, как вдруг неожиданно, перед самыми глазами моими, моя циновка распахнулась и ко мне не взошел, а точно чужою сильною рукою был вброшен весь закутанный человек. Он как впал ко мне, так обвил мою шею и замер, простонав отчаянным голосом:

– Спаси меня, Памфалон!

Глава пятнадцатая

С теми мыслями, каких я был полон в эту минуту и чего в тревоге опасался от Аммуна, я прежде всего заподозрил, что это начинается его дело, затеянное с какою-нибудь хитростью, в которых разбойничий ум Аммуна был очень искусен.

Я уже ждал боли, которую должен был ощутить от погружения в мою грудь острого ножа рукою впавшего ко мне гостя, и, охраняя жизнь свою, с такою силою оттолкнул от себя этого незнакомца, что он отлетел от меня к стене и, споткнувшись на обрубок, упал в угол. А я тотчас же сообразил, что мне легче будет управиться с одним человеком, который притом показался мне слабым, чем с несколькими за ним следующими, и потому я поскорее примкнул заставицу и задвинул крепкий засов, а потом взял в руки секиру и стал прислушиваться. Я твердо решился ударить секирою всякого, кто бы ни показался в мое жилище, а в то же время не сводил глаз с того пришельца, которого отшвырнул от себя в угол.

Он стал мне казаться странен тем, что неподвижно лежал в углу, куда упал, и занимал так мало места, как ребенок, а в то же время он совсем не обнаруживал ничего против меня ухищренного, а, напротив, был будто заодно со мною. Он зорко следил за каждым моим движением и, учащенно

дыша, шептал:

– Запрись!.. Скорей запрись!.. Скорей запрись, Памфалон!

Меня это удивило, и я сурово сказал:

– Хорошо, я запрюсь, но тебе что от меня нужно?

– Подай мне поскорее твою руку, дай мне испить и посади меня у твоей лампы. Тогда я скажу тебе, что мне нужно.

– Хорошо, – отвечал я, – каковы бы ни были твои замыслы, но вот тебе моя рука, и вот чаша воды и место у моей лампы.

С этим я протянул гостю руку, и передо мною вспорхнуло легкое детское тело.

– Ты не мужчина, а женщина! – вскричал я.

А гость мой, говоривший до сей поры шепотом, отвечает мне женским голосом:

– Да, Памфалон, я женщина, – и с этим она распахнула на себе темную епанчу, в которую была завернута, и я увидел молодую, прекрасную женщину, с лицом, которое мне было знакомо. На нем вместе с красотой отражалось ужасное горе. Голова ее была покрыта дробным плетением волос, и тело умащено сильным запахом амбры, но она не имела бесстыдства, хотя говорила ужасные вещи. – Посмотри, хороша или нет я? – спросила она, отеняясь одною рукою от лампы.

– Да, – отвечал я, – ты бесспорно красива, и тебе лучше не терять своего времени со мною. Что тебе нужно?

А она говорит:

– Ты не узнал меня, верно. Я Магна, дочь Птоломея с Альбиной. Купи меня, купи, Памфалон-скоморох, дочь Птоломея – у тебя теперь много богатства, а Магне золото нужно, чтоб спасти мужа и избавить детей из неволи.

И, орошая щеки слезами, Магна стала торопливой рукой разрешать на себе пояс туники.

Глава шестнадцатая

Старик! Я видал много людей, но такой странной гостью у меня еще никогда не случилось... Она и продавала себя, и страдала, и все это вместе меня как будто сдавило за сердце.

Имя Магна принадлежало самой прекрасной, именитой и несчастной женщине в Дамаске. Я знал ее еще в детстве, но не видал ее с тех пор, как Магна удалилась от нас с византийцем Руфином, за которого вышла замуж по воле своего отца и своей матери, гордой Альбины.

– Остановись! – вскричал я. – Я тебя узнаю, ты в самом деле благородная Магна, дочь Птолемея, в садах которого я с позволения твоего отца не раз забавлял тебя в детстве моими играми и получал из твоих ласковых рук монеты и пшеничный хлеб, изюм и гранатовые яблоки! Говори мне скорее, что с тобой сделалось, где твой супруг, роскошный богач-византиец Руфин, которого ты так любила? Неужто его поглотили волны моря, или молодую жизнь его пресек меч переплывшего Понт скифского варвара? Где же твоя семья, где твои дети?

Магна, потупясь, молчала.

– Скажи же, по крайней мере, когда ты явилась в Дамаск и зачем ты не у своих здешних родных или не у прежних богатых подруг – у умной Фотины, у ученой Таоры или у целомудренной Сильвии-девы? Зачем быстрые ноги твои при-

несли тебя к бедному жилищу бесславного скомороха, над которым ты сейчас так жестоко посмеялась, сделав мне в шутку такое нестаточное предложение!

Но Магна грустно покачала головою и проговорила в ответ:

– Ты, Памфалон, не знаешь всех моих ужасных несчастий! Я не смеюсь: я пришла продать себя не для шутки. Муж мой и дети!.. Муж мой и дети мои все в неволе. Мое горе ужасно!

– Ну так скорее скажи мне, что это за горе, и если я могу тебе пособить, я все с радостью тотчас исполню.

– Хорошо, я все скажу тебе, – отвечала Магна.

И тут-то, пустынный, постигло меня то искушение, за которым я позабыл и обет мой, и клятву, и самую вечную жизнь.

Глава семнадцатая

Я знал Магну с ранних дней ее юности. Я не был в доме ее отца, а был только в саду как скоморох, когда меня звали, чтобы потешить ребенка. Гостей входящих к ним было мало, потому что великолепный Птоломей держал себя гордо и с людьми нестрогой жизни не знался. В его доме не было таких сборищ, при которых был нужен скоморох, а там собирались ученые богословы и изрекали о разных высоких предметах и о Самом Святом Духе. Жена Птоломея, Альбина, мать красавицы Магны, была под стать своему мужу. Все самые пышные жены Дамаска не любили ее, но все признавали ее непорочность. Верность Альбины для всех могла быть уроком. Превосходная Магна уродилась в мать, на которую походила и прекрасным лицом, но молодость ее заставляла ее быть милосердной. Прекрасный сад ее отца, Птоломея, примыкал к большому рву, за которым начиналось широкое поле. Мне часто приходилось проходить этим полем, чтобы миновать дальний обход к загородному дому гетеры Азеллы. Я всегда шел с моей скоморошьей ношей и с этой самой собакою. Акра тогда была молода и не знала всего, что должна знать скоморошья собака.

Выходя в поле, я останавливался на полпути, как раз против садов Птоломея, чтобы отдохнуть, съесть мою ячменную лепешку и поучить мою Акру. Я обыкновенно садился над

обрывом оврага, ел и заставлял Акру повторять на широком просторе уроки, которые давал ей у себя, в моем тесном жилище. Среди этих занятий я и увидел один раз прекрасное лицо взросшей Магны. Закрывшись ветвями, она любопытно смотрела из зелени на веселые штуки, которые проделывала моя Акра. Я это заметил и, не давая Магне заметить, что я ее вижу, хотел доставить ей представлениями моего пса более удовольствия, чем Акра могла показать по тогдашней своей выучке. Чтобы побудить собаку к проворству, я несколько раз хлестнул ее ремнем, но в ту самую минуту, когда собака взвизгнула, я заметил, что зелень, скрывавшая Магну, всколыхнулась, и прекрасное лицо девушки исчезло...

Это привело меня в такое озлобление, что я еще ударил Акру два раза, и когда она подняла жалобный визг, то из-за ограды сада до меня донеслись слова:

– Жестокий человек! За что ты мучишь это бедное животное! Для чего ты принуждаешь собаку делать то, что несвойственно ее природе?

Я оборотился и увидел Магну, которая вышла из своего древесного закрытия, и, стоя по перси над низкой, заросшей листьями оградой, говорила она мне с лицом, пылающим гневом.

– Не осуждай меня, юная госпожа, – отвечал я, – я не жестокий человек, а выучка этого пса относится к моему ремеслу, которым мы с ним оба питаемся.

– Презренно твое ремесло, которое нужно только презренным празднолюбцам, – ответила мне Магна.

– О госпожа! – отвечал я, – всякий питается тем, чем он может добыть себе пищу, и хорошо, если он живет не на счет другого и не делает несчастья ближних.

– Это не идет к тебе, ты развращаешь своих ближних, – молвила Магна, и в глазах ее я мог видеть ту же строгость, которую отличался всегда взор ее матери.

– Нет, юная госпожа, – отвечал я, – ты судишь строго и говоришь так потому, что мало сама испытала. Я простолюдин и не могу развращать людей высшего звания.

И я повернулся и хотел уходить, как она остановила меня одним звуком и сказала:

– Не идет тебе рассуждать о людях высокого звания. Лучше вот... лови мой кошелек: я бросаю это тебе, чтобы ты дал волю пища твоей жалкой собаке.

С этим она бросила шелковый мешочек, который не долетел на мою сторону, а я потянулся, чтобы его подхватить, и, оборвавшись, упал на дно оврага.

В этом падении я страшно расшибся.

Глава восемнадцатая

В бедствии моем мне было утешением, что во все десять дней, которые я провел в малой пещерке на дне оврага, ко мне всякий день спускалась благородная Магна. Она приносила мне столько роскошной пищи, что ее с излишком доставало для меня и для Акры, а Магна сама, своими девственными руками, смачивала у ручья плат, который прилагала к моему больному плечу, стараясь унять в нем несносный жар от ушиба. При этом мы с ней вели отрадные для меня разговоры, и я наслаждался как чистотой ее сердца, так и ясным светом рассудка. Одно мне в ней было досадно, что она не снисходила ничьим слабостям и слишком на себя во всем полагалась.

– Отчего, – говорила она, – все не живут, как живет моя мать и мои подруги Таора, Фотина и Сильвия, которых вся жизнь чиста, как кристалл.

И я видел, что она их весьма уважала и во всем хотела им следовать. Несмотря на свою молодость, она и меня хотела исправить и оторвать от моей жизни, а когда я не решался ей этого обещать, то она сердилась.

Я же ей говорил то, что и есть в самом деле.

– Разве ты не знаешь, – говорил я, – что нужен сосуд в честь и нужен сосуд в поношение? Живи ты для чести, а я определен жить для поношения, и, как глина, я не спорю

с моим горшечником. Жизнь меня заставила быть скоморохом, и я иду своею дорогой, как бык на веревке.

Магна не умела понять простых слов моих и все относила к привычке.

– Сказано мудрым, – отвечала она, – что привычка приходит как странник, остается как гость и потом сама становится хозяином. Деготь, побывав в чистой бочке, делает ее ни к чему больше не годною, как опять же для дегтя.

Нетрудно мне было понять, что она становится нетерпелива, и я в глазах ее теперь – все равно что дегтярная бочка, и я умолкал и сожалел, что не могу уйти скорей из оврага. Тяжело стало мне от ее самомнения, да и сама она стала заботиться, как меня вынуть из рва и доставить в мое жилище.

Сделать это было трудно, потому что сам я идти не мог, а девушка была слишком слаба, чтобы помочь мне в этом. Дома же она не смела признаться своим гордым родителям в том, что говорила с человеком моего презренного звания.

И как один проступок часто влечет человека к другому, так же случилось и здесь с достойною Магной. Для того чтобы помочь мне, презренному скомороху, который не стоил ее внимания по своему недостоинству, она нашла себя вынужденной довериться еще некоторому юноше, по имени Магистриан.

Магистриан был молодой живописец, который прекрасно расписывал стены роскошных домов. Он шел однажды с своими кистями к той же гетере Азелле, которая велела ему

изобразить на стенах новой беседки в ее саду пир сатиров и нимф, и когда Магистриан проходил полем близ того места, где лежал я во рву, моя Акра узнала его и стала жалостно выть.

Магистриан остановился, но, подумав, что на дне рва, вероятно, лежит кто-нибудь убитый, хотел поскорей удалиться. Без сомнения, он и ушел бы, если бы наблюдавшая все это Магна его не остановила.

Магна увлеклась состраданьем ко мне, раскрыла густую зелень листвы и сказала:

– Прохожий! Не удаляйся, не оказав помощи ближнему. Здесь на дне рва лежит человек, который упал и расшибся. Я не могу пособить ему выйти, но ты сильный мужчина, и ты можешь оказать ему эту помощь.

Магистриан тотчас спустился в ров, осмотрел меня и побежал в город за носильщиками, чтобы перенести меня в мое жилище.

Вскоре он все это исполнил и, оставшись со мною наедине, стал меня спрашивать: как это со мною случилось, что я упал в ров и расшибся, и как я мог жить две недели без пищи?

А как мы с Магистрианом были давно знакомы и дружны, то я не хотел ему говорить что-нибудь выдуманное, а рассказал чистую правду, как было.

И едва я дошел до того, как питала меня Магна и как она своими руками смачивала в воде плат и прикладывала его

к моему расшибленному плечу, юный Магистриан весь оза-
рился в лице и воскликнул в восторге:

– О Памфалон! Сколь ты счастлив, и как мне завиден твой
жребий! Я бы охотно позволил себе изломать мои руки и но-
ги, лишь бы видеть возле себя эту нимфу, эту великодушную
Магну.

Я сейчас же уразумел, что сердце художника поразило
сильное чувство, которое зовется любовью, и я поспешил его
образумить.

– Ты малодушник, – сказал я. – Дочь Птолемея прекрас-
на, об этом ни слова, но здоровье для всякого человека есть
самое высшее благо, а притом Птолемея так суров, а мать
Магны, Альбина, так надменна, что если душа твоя чувству-
ет пламень красот этой девушки, то из этого ничего для тебя
хорошего выйти не может.

Магистриан побледнел и отвечал:

– Чему ж еще надобно выйти! Разве мне не довольно, что
она меня вдохновляет.

И он ею продолжал вдохновляться.

Глава девятнадцатая

Когда я оправился и пришел в первый вечер к Азелле, Магистриан повел меня показать картины, которые он написал на стенах в беседке гетеры. Обширное здание беседки было разделено на «часы», из которых слагается каждый день жизни человека. Всякое отделение назначалось к тому, чтобы приносить в свой час свои радости жизни. Вся беседка в целом была посвящена Сатурну, изображение которого и блесло под куполом. У главного круга было два крыла в честь Гор, дочерей Юпитера и Фемиды, а эти отделения еще разделялись: тут были покои Ауге, откуда виднелась заря, Анатолю, откуда был виден восход солнца; Музия, где можно было заниматься науками; Нимфея, где купались; Спондея, где обливались; Киприда, где вкушали удовольствия, и Элетия, где молились... И вот здесь-то, в одном отдаленном уголке, который назначался для уединенных мечтаний, живописец изобразил легкою кистью благочестивое сновидение...

Нарисован был пир; нарядные и роскошные женщины, которых я всех мог бы назвать поименно. Это все были наши гетеры. Они возлежали с гостями, в цветах, за пышным столом, а некто юный спал, уткнувшись лицом в корзину с цветами. Лицо его не было видно, но я по его тоге узнал, что это был сам художник Магистриан. А над ним виднелась травля: львы в цирке неслися на юную девушку... а та твердо стояла

и шептала молитвы. Она была Магна.

Я его потрепал по плечу и сказал:

– Хорошо!.. Ты ее написал очень схоже, но почему ты полагаешь, что ей звери не страшны? Я знаю их род: Птоломей и Альбина известны своим благородством и гордостью тоже, но ведь рок их щадил и их дочери тоже до сих пор не касалось никакое испытание.

– Что же из этого?

– А то, что прекрасная Магна никаких бедствий жизни не знает, и я не понимаю, почему ты отметил в ней такую черту, как бесстрашие и стойкость перед яростью зверя? Если это иносказанье, то жизнь ведь гораздо страшнее всякого зверя и может заставить сробеть кого хочешь.

– Только не Магну!

– Ах, я думаю, даже и Магну!

Я говорил так для того, чтобы он излишне не увлекался Магной; но он перебил меня и прошептал мне:

– Меня звали делать ширмы для ее девственной спальни, и пока я чертил моим углем, я с ней говорил. Она меня спросила о тебе...

Живописец остановился.

– Она сожалеет, что ты занимаешься таким ремеслом, как скоморошество. Я ей сказал: «Госпожа! Не всякий в своей жизни так счастлив, чтобы проводить жизнь свою по избранию. Неодолима судьба: она может заставить смертного напиться из самого мутного источника, где и пиявки и аспид

на дне». Она пренебрежительно улыбнулась.

– Улыбнулась?.. – спросил я. – Узнаю в этом дочь Птолемея и гордой Альбины. Мне, знаешь ли... мне больше понравилось бы, если бы она промолчала, а еще лучше – с состраданием тихо вздохнула б.

– Да, – произнес Магистриан, – но она также сказала: «Смерть лучше беславия», и я верю, что она на это способна.

– Ты скоро судишь, – отвечал я, – смерть лучше беславия – это неспорно, но может ли это сказать мать, у которой есть дети?

– Отчего же? Ты только вспомни, что сделала мать Маккавеев?

– Да. Маккавеев убили. А если бы матери их погрозили сделать детей такими скоморохами, как я, или обмывщиками ног в доме гетеры... Что? Я думаю, если бы мать их была сама Магна, – то Бог ведь что бы она предпочла: позор или смерть за их избавление?

– Зачем говорить это! – воскликнул, отходя от меня, Магистриан. – Пусть не коснется ее вовек никакое зло.

– О, – говорю я, – от всей души присоединяюсь к твоему желанию всего доброго Магне.

А на другой же день после этого разговора Магистриан пришел ко мне перед вечером очень печальный и говорит:

– Слышал ли ты, Памфалон, самую грустную новость? Птоломей и Альбина выдают дочь свою замуж!

– А почему ты называешь это грустною новостью? – отвечал я. – С каких это пор союз двух сердец стал печалью, а не радостью?

– Это было всегда, когда сердце соединяют с бессердечием.

– Магистриан, – остановил я живописца, – в тебе говорит беспокойное чувство, его зовут ревность. Ты должен его в себе уничтожить.

– О, я уже давно его уничтожил, – отвечал живописец. – Магна мне не невеста, и я ей не жених, но ужасно, что жених ее приезжий Руфин-византиец.

Это имя мне так было известно, что я вздрогнул и опустил из рук мое дело.

Глава двадцатая

Руфин-византиец был из знатного рода и очень изящен собою, но страшно хитер и лицемер столь искусный, что его считали чрезмерным даже в самой Византии. Тщеславный коринфянин Ор и все, кто тратили деньги и силы на пирах у гетеры Азеллы, были, на мое рассуждение, лучше Руфина. Он прибыл в Дамаск с открытым посланием и был принят здесь Птоломеем отменно. Руфин, как притворщик, целые дни проводил во сне дома, а говорил, будто читает богословские книги, а ввечеру удалялся, еще для полезных бесед, за город, где у нас о ту пору жил близ Дамаска старый отшельник, стоя днем на скале, а ночью стеная в открытой могиле. Руфин ходил к нему, чтобы молиться, стоя в его тени при закате солнца, но отсюда крылатый Эол его заносил постоянно под кровлю Азеллы, всегда, впрочем, с лицом измененным благодаря Магистрианову искусству. А потому мы хорошо его знали, ибо Магистриан, как друг мой, не делал от меня тайны, что он рисовал другое лицо на лице Руфина, и мы не раз вместе смеялись над этим византийским двуличьем. Знала об этом и гетера Азелла, так как гетеры, закрыв двери свои за гостями, часто беседуют с нами и, находя в нас, простых людях, и разум и сердце, любят в нас то, чего не встречают порою в людях богатых и знатных.

Азелла же, надо сказать, любила моего живописца, и лю-

била его безнадежно, потому что Магистриан думал об одной Магне, чистый образ которой был с ним неразлучно. Азелла чутким сердцем узнала всю эту тайну и тем нежней и изящней держала себя с Магистрианом. Когда я и Магистриан оставались в доме Азеллы, при восходе солнца она, проводив своих гостей, часто говорила нам, как она которого из них понимает, и не скрывала от нас своего особенно презрения к Руфину. Она называла его гнусным притворщиком, способным обмануть всякого и сделать самую подлую низость, а Азелла всех хорошо понимала. Один раз после безумных трат коринфянина Ора она нам сказала:

– Это бедный павлин... Все его щиплют, и когда здесь бывает с ним вместе византиец Руфин, хорошо бы встряхивать Руфинову епанчу.

Это значило, что Руфин мог быть и вор... Азелла никогда не ошибалась, и я и Магистриан это знали.

Но Птоломей и Альбина глядели на византийца своими глазами, а добрая дочь их была покорна родительской воле, и жребий ее был совершён. Магна сделалась женою Руфина, который взял ее вместе с богатым приданым, данным ей Птоломеем, и увез в Византию.

Глава двадцать первая

Птоломей и Альбина были скоро наказаны роком. Лицемерный Руфин оказался и небогат, и не столь именит, как выдавал себя в Дамаске, а главное, он совсем не был честен и имел такие большие долги, что богатое приданое Магны все пошло на разделку с теснившими его заимодавцами. Скоро Магна очутилась в бедности, и приходили слухи, будто она терпит жестокую долю от мужа. Руфин заставлял ее снова выпрашивать серебро и золото у ее родителей, а когда она не хотела этого делать, он обращался с нею сурово. Всё же, что присылали Магне ее родители, Руфин издерживал бесславно, совсем не думая об уменьшении долга и о двух детях, которые ему родились от Магны. Он, так же как многие знатные византийцы, имел в Византии еще и другую привязанность, в угоду которой обирал и унижал свою жену.

Это так огорчило гордого Птолемея, что он стал часто болеть и вскоре умер, оставя своей вдове только самые небольшие достатки. Альбина все повезла к дочери: она надеялась спасти ее и потеряла все свои деньги на дары приближенным епарха Валента, который сам был алчный сластолюбец и искал случая обладать красивою Магной. Кажется, он имел на это согласие самого Руфина. Говорили, будто Руфин даже понуждал свою жену отвечать на исканье Валента, заклиная ее согласиться на это для спасенья семейства, потому что

иначе Валент угрожал отдать Руфина со всею его семьею во власть его заимодавцев.

Альбина не вынесла этого и скоро переселилась в вечность, а Магна осталась с детьми в самой горестной бедности, но не предалась развращенным исканьям Валента. Тогда гневный вельможа Валент распорядился отдать всех их во власть заимодавцев.

Заимодавцы посадили Руфина в тюрьму, а детей его и бедную Магну взяли в рабство. А чтобы сделать это рабство еще тяжелее, они разлучили Магну с детьми и малюток ее отослали в село к скопцу-селянину, а ее отдали содержателю бесчестного дома, который обязался платить им за нее в каждые сутки по три златницы.

Напрасно вопияла ко всем бедная Магна и у всех искала защиты. Ей отвечали: над нами над всеми закон. Закон наш охраняет многоимущих. Они всех сильней в государстве. Если бы был теперь на своем месте наш прежний правитель Ермай, то он, как человек справедливый и милосердный, может быть, вступился бы и не допустил бы этого, но он очудачел: оставил свет, чтобы думать только об одной своей душе. Жестокий старик! Пусть небо простит ему его отшельничье самолюбие.

Произнеся эти слова, скоморох заметил, что сидевший возле него пустынный вздрогнул и схватил Памфалона за руку. Памфалон спросил его:

– Что, ты о них сожалеешь, что ли?

– Да, я сожалею... сожалею... И о них, и о себе сожалею, – отвечал Ермий. – Продолжай твою повесть.

Памфалон стал продолжать.

Глава двадцать вторая

Содержатель бесчестного дома, чтобы избежать неприятного шума в столице и надежнее взять свои деньги, не стал держать Магну в Византии, а отправил ее в Дамаск, где ее все знали как самую благородную и недоступную женщину, а потому, без сомнения, теперь все устремятся обладать ею.

Магну, как рабыню, стерегли зорко, и у нее были отняты все средства бежать. Она не могла и лишиться себя жизни, да она о самоубийстве и не помышляла, потому что она была мать и стремилась найти и спасти своих детей от скопца из неволи.

Так она под караулом и в закрытости была привезена в Дамаск, и на другой день, то есть именно в тот день, когда я скрывался, лежа на моем золоте, огласилось, что продающий Магну содержит ее у себя за плату по пяти златниц за каждые сутки. Получить ее может всякий, кто заплатит златницы.

Глава двадцать третья

Тот, кто взялся выручать за Магну златницы, конечно, не медлил, чтобы собирать их с хорошим прибытком, и для того разослал зазывальщицу по всем богатым людям Дамаска, чтобы оповестить им, каким он роскошным владеет товаром.

Развращенные люди кинулись в дом продавца, и Магна весь день едва лишь спасалась слезами. Но к вечеру продавец стал угрожать снести с тем, кто взял ее детей, чтобы их оскопить, и она решила ему покориться... И после этого силы ее оставили и она крепко заснула и увидела сон: к ней кто-то тихо вошел и сказал ей: «Радуйся, Магна! Ты сегодня обрела то одно, чего тебе во всю твою жизнь недоставало. Ты была чиста, но гордилась своей непорочностью, как твоя мать; ты осуждала других падших женщин, не внимая, чем они доведены были до падения. Это было ужасно, и вот теперь, когда ты сама готова пасть и знаешь, как это тяжело, теперь твоя противная Богу гордость сокрушилась, и теперь Бог сохранит тебя чистой».

И в это же самое время в дом, где заключалась Магна, постучался один застенчивый гость, который закрывал лицо свое простой епанчою, и, тихо позвав хозяина, сказал ему шепотом:

– Ах, я очень стыдлив, но умираю от страсти. Скорее введи меня к Магне – даю тебе десять златниц.

Продавец был рад, но, прежде чем ввести незнакомца к Магне, сказал ему:

– Я должен сказать тебе, господин, что эта женщина из знатного рода, и она стоит мне по кабале больших денег, которых я через нее не выручил, потому что она умела разжалобить всех, кого я вводил к ней. Не мое будет дело, если ты станешь слушать ее слова и тебя размягчат ее речи. Я свое золото должен иметь, потому что я человек бедный и взял ее за дорогую цену.

– Не беспокойся, – отвечал, продолжая скрывать лицо, незнакомец, – вот получи свои десять златниц, а я не таковский: я знаю, что значат женские слезы.

Продавец взял у него десять златниц и дернул шнур, который опрокинул медную чашу, содержащую медный же шар. Шар покатился по холщовому желобу и, докатившись до шатрового отделения Магны, звонко упал в медный таз, стоявший у изголовья ее постели. После чего продавец сейчас же повел гостя к Магне.

Глава двадцать четвертая

Незнакомец вошел в отдаленный покой, накуренный пистиком и амброй, и увидел здесь при цветочном фонаре лежащую Магну. Ее не разбудил удар в таз, потому что как раз в это время ей снился тот сон, где открывалось, что надменная сила ее отлетела и теперь она спасена за признание своей немощи.

Продавец упрекнул Магну, что она не слыхала удара шара по тазу, и, указав ей на незнакомца, сказал грубо:

– Не притворяйся, будто не слышишь, что к тебе пущен шар! Вот кому я уступил всякую власть над тобою до утра. Будь умна и покорна. А если ты еще заставишь меня терпеть убытки, я передам тебя туда, где к тебе будут входить суровые воины, и от тех ты уже не дождешься пощады.

И, сказав это, продавец взял шар и вышел, а гость затворил за ним и, оборотясь, тихо молвил Магне:

– Не бойся, злополучная Магна, я пришел, чтобы спасти тебя. – И он сбросил свой плащ.

Магна узнала Магистриана и зарыдала.

– Оставь слезы, прекрасная Магна. Теперь не время, чтоб лить их и отчаиваться. Успокойся и верь, что если небо спасало тебя до сего часа, то теперь твое избавление уже несомненно, если ты только согласна сама помогать мне, чтобы я мог тебя выручить и возвратить тебя детям и мужу.

– Согласна ли я! – воскликнула Магна. – О добрый юноша, разве в этом возможно сомненье!

– Так поспеши же скорее делать, что я тебе скажу: теперь я отвернусь от тебя – и давай как можно скорее переменяйся платьем.

И вот Магна надела на себя тунику, и епанчу, и все, что имел на себе мужское Магистриан, а он сказал ей:

– Не медли, спасайся! Закрой епанчой твое лицо точно так, как вошел сюда я, и смело иди из этого дома! Твой презренный хозяин сам тебя выведет за свои проклятые двери.

Магна так и сделала и благополучно вышла, но тотчас же, выйдя, стала сокрушаться: куда ей бежать, где скрыться и что будет с бедным юношей, когда завтра обман их откроют? Магистриан подвергнется истязаньям, как разрушитель заимодавного права; он, конечно, не имеет столько, чтобы заплатить весь долг, за который отдана в кабалу Магна, и его навеки посадят в тюрьму и будут его мучить, а она все равно не может явиться к своим детям, потому что ей нечем выкупить их из кабалы.

И вот тут этой женщине пришла в голову мысль, которая навсегда лишила меня возможности исправить мой путь и вести вперед добропорядочную жизнь.

Глава двадцать пятая

Когда Магна открыла мне свои бедствия и рассказала об опасности, которой подвергался за нее Магистриан, передо мною точно разверзлась бездна. Я знал, что у Магистриана не могло быть десяти литр золота, которые взнес он за Магну и которые все равно не могли избавить ее от ее унижения, ибо не составляли цены всей ее кабалы и ничего не оставляли на выкуп ее детей от скопца в Византии. Но где, однако, Магистриан мог взять и эти златницы? Он работал в доме Азеллы, где всегда был ларец с сокровищами этой без ума влюбленной в него гетеры... И ужас объял мою душу... Я подумал: что если любовь к бедной Магне довела его до безумия, и он похитил ларец, и имя Магистриана отныне бесчестно: он вор! А бедная Магна, продолжая оглашать воздух стонами, возвратилась опять к тем же словам, с которых начала, когда неожиданно вошла в мое жилище.

– Памфалон! – вопияла она. – Я слышала, что ты разбогател, что какой-то гордый коринфянин дал тебе несметные деньги. Я пришла продать себя тебе, возьми меня к себе в рабыни, но дай мне денег, чтоб выкупить из неволи моих детей и спасти погибающего за меня Магистриана.

Отшельник! Ты отжил жизнь в пустыне, и тебе, быть может, непонятно, какое я чувствовал горе, слушая, что отчаяние говорит устами этой женщины, которую я знал столь чи-

стой и гордой своею непорочностию! Ты уже взял верх над всеми страстями, и они не могут поколебать тебя, но я всегда был слаб сердцем, и при виде таких страшных бедствий другого человека я промотался... я опять легкомысленно позабыл о спасении своей души.

Я зарыдал и сквозь рыдания молвил:

– Ради милости Божией умолкни, несчастная Магна! Сердце мое не может этого вынести! Я простой человек, я скоморох, я провожу мою жизнь среди гетер, празднолюбцев и мотов, я дегтярная бочка, но я не куплю себе того, что ты предлагаешь мне в безумье от горя.

Но Магна так ужасно страдала, что не поняла меня вовсе.

– Ты отвергаешь меня! – воскликнула она с ужасом. – О, я несчастная! Где мне взять золота, чтобы избавить от изуродования моих детей? – И она заломила над головою руки и упала на землю.

Это исполнило меня еще большего ужаса... Я задрожал, увидя, как ее унизило горе до того, что она, уже словно счастья, искала, чтобы кто-нибудь купил у нее ее ласки.

Глава двадцать шестая

Я поспешил ее утешить.

– Нет, – закричал я, – это вовсе не то, что будто я тебя отвергаю. Я тебе друг и докажу тебе это моею готовностью помочь твоему горю. Только не говори более, для чего ты пришла сюда. Разрушь скорей это плетение волос, через которое ты стала походить на гетеру; смой с своих плеч чистой водою этот аромат благовонного нарда, которым их покрыли люди, желавшие твоего позора, а потом скажи мне: сколько именно должен муж твой.

Она вздохнула и тихо промолвила:

– Десять тысяч златниц.

Я видел, что ее обманули: богатство, которое бросил мне расточительный Ор, было ничтожно для того, чтобы заплатить долг ее и выкупить детей.

Магна молча встала и, подняв рукою сброшенную епанчу Магистриана, хотела снова покрыть свою голову.

Я догадался, что она хочет уйти от меня с нехорошею целью, и воскликнул:

– Ты хочешь уйти, госпожа Магна?

– Да, я возвращусь снова туда, откуда пришла.

– Ты хочешь освободить Магистриана!

Она только молча кивнула головой в знак согласия.

Я ее остановил насильно.

– Не делай этого, – сказал я. – Это будет напрасно. Магистриан так благороден и так тебе предан, что он оттуда не выйдет, а ты своим возвращением только увеличишь смятение. У меня всего есть двести тридцать златниц... Это все, что я получил от коринфянина Ора. Если думают, что у меня есть более, то это или сочинила молва, или нахвастал сам Ор пухостхвальный. Но все двести тридцать златниц ты должна считать за свои. Не возражай мне, госпожа Магна, не возражай мне против этого ни одного слова! Это золото твое, но надо достать еще много, чтобы составило долг твоего мужа. Я не знаю, где больше взять, но ночь пока еще только в начале... Магистриан до утра безопасен. Твой продавец уверен, что вы теперь слились в объятьях. Ты оставайся у меня и будь спокойна. Моя Акра до тебя никого без меня не допустит, а я сейчас извещу о твоём несчастье твоих именитых подруг: Таору, Фотину и Сильвию-деву, благочестье которой известно Дамаску... Их слуги все меня знают и за дары меня пустят к своим господам. Они богаты и целомудренны, и они не пожалеют золота, и дети твои будут выкуплены.

Но Магна живо меня перебила:

– Не тревожь, Памфалон, ни Таоры, ни Фотины, ни девственной Сильвии – все они ничего для твоей просьбы не сделают.

– Ты ошибаешься, – возразил я. – Таора, Сильвия и Фотина – благочестивые женщины, они преследуют всякий разврат, и по их слову у нас уже выслали многих гетер из Да-

маска.

– Это ничего не значит, – отвечала Магна и открыла мне, что прежде чем бедствия ее семейства достигли до нынешней меры, она уже обращалась с просьбою к названным мною высоким гражданам, но что все они оставили ее просьбы втуне.

– А как теперь, – прибавила она, – ко всему этому присоединился еще позор, до которого дошла я, то всякие просьбы к ним им будут даже обидны. Я сама была такова ж, как они, и знаю, что не от них может прийти избавление падшей.

– Ну, все равно, жди у меня, что нам пошлет милосердное небо, – сказал я и, погасив лампу, запер вход в мое жилище, в котором Магна осталась под защитою Акры, а я во всю силу бегом понесся по темным проходам Дамаска.

Глава двадцать седьмая

Я не послушался Магны и проник, с помощью слуг, к Таоре, Сильвии и к Фотине... И стыжуся вспоминать, что я от них слышал... Магна была права во всем, что мне о них говорила. Слова мои только приводили в пламенный гнев этих женщин, и я был изгоняем за то, что смел приходить в их дома с такою просьбой... Две из них, Таора и Фотина, велели прогнать меня с одним только напоминанием, что я стоил бы хороших ударов, но Сильвия-дева, та повелела бить меня перед ее лицом, и слуги ее били меня медным прутом до того, что я вышел от нее с окровавленным телом и с запекшимся горлом. Так, томимый жаждою, вбежал я на кухню гетеры Азеллы, чтобы попросить глоток воды с вином и идти далее. А куда идти – я сам не знал этого.

Но тут, едва я явился, под крытым переходом меня встретила наперсница гетеры, белокурая Ада. Она как будто нарочно шла с кувшином прохладительного напитка, и я сказал ей:

– Будь милосердна, прекрасная Ада, освежи уста мои – я умираю от жажды.

Она улыбнулась и молвила с шуткой:

– Тебе ли теперь умирать, господин Памфалон, ты больше не беден и можешь иметь рабов, которые станут прохлаждать для тебя воду.

А я ей ответил:

– Нет, Ада, я, слава Богу, опять уже не богат – я опять так же беден, как прежде, и вдобавок... должен признаться, – я сильно изранен.

Она мне нагнула сосуд, а я припал к питью, и в то время, когда я пил, а Ада стояла, склонившись ко мне, она заметила на моих плечах кровь, которая сочилась из рубцов, нанесенных мне медным прутом пред лицом девственной Сильвии. Кровь проступала сквозь тонкую тунику, и Ада в испуге вскричала:

– О несчастный! Ты взаправду в крови! На тебя, верно, напали ночные вору!.. О несчастный! Хорошо, что ты спасся от них под нашею кровлей. Останься здесь и подожди меня немного: я сейчас отнесу это охлажденное питье гостям и вмиг возвращусь, чтоб обмыть твои раны...

– Хорошо, – сказал я, – я тебя подожду.

А она добавила:

– Может быть, ты хочешь, чтоб я шепнула об этом Азелле? У нее теперь пирует с друзьями градоправитель Дамаска: он пошлет отыскать тех, кто тебя обидел.

– Нет, – отвечал я, – это не нужно. Принеси мне только воды и какую-нибудь чистую тунику.

Надев чистую одежду, я хотел идти к бывшему монаху Аммуну, который занимался всякими делами, и закобалить ему себя на целую жизнь, лишь бы взять сразу деньги и отдать их на выкуп от скопца детей Магны.

Ада скоро возвратилась и принесла все, что мне было нужно.

Но она также сказала обо мне и своей госпоже, а это повело к тому, что едва Ада обтерла прохладною губкою мои раны и покрыла мои плечи принесенною ею льняною туникой, как в переходе, где я лежал на полу, прислонясь боком к дереву, показалась в роскошном убранстве Азелла.

Глава двадцать восьмая

Азелла вся была в золоте и в перлах, из которых один стоил огромной цены. Этот редкостный перл был подарен ей большим богачом из Египта.

Азелла подошла с участием ко мне и заставила меня рассказать ей все, что со мною случилось. Я ей стал рассказывать вкратце и когда дошел до бедствия Магны, то заметил, что глаза Азеллы стали серьезны, а Ада начала глядеть вдаль, и по лицу ее тоже заструились слезы.

Тогда я подумал: вот теперь время, чтобы открыть Магистрианову тайну, и вдруг неожиданно молвил:

– Азелла, это ли все драгоценности, которые ты имеешь?

– Нет, это не все, – отвечала Азелла. – Но какое тебе до этого дело?

– Мне большое есть дело, и я тебя умоляю: скажи мне, где ты их сохраняешь и все ли они целы?

– Я храню их в драгоценном ларце, и все они целы.

– О, радость! – вскричал я, позабыв всю мою боль. – Все цело! Но где ж взял десять литр золота Магистриан?!

– Магистриан?!

– Да.

И когда я стал рассказывать, что сделал Магистриан, Азелла стала шептать:

– Вот кто истинно любит! Моя Ада видела, как он вышел

из дома Аммуна... Я все понимаю: он продал Аммуна себя в кабалу, чтобы выпустить Магну!

И гетера Азелла начала тихо рыдать и обирать с своих рук золотые запястья, ожерелья и огромный перл из Египта и сказала:

– Возьми все это, возьми и беги, как можно скорее возьми от скопца детей бедной Магны, пока он их не изуродовал!

Я так и сделал: я соединил все мои деньги, которые дал мне Ор-коринфянин, с тем, что получил от гетеры, и отправил с ними Магну выкупать из неволи ее мужа и двух сыновей. И все это совершилось успешно, но зато исправление жизни моей и с ней вся надежда моя на блаженную вечность навсегда разлетелись. Так я теперь и остаюсь скоморохом – я смехотвор, я беспутник – я скачу, я играю, я бью в накры, свищу, перебираю ногами и трясу головой. Словом: я бочка, я дегтярная бочка, я негодная дрянь, которую ничем не исправишь.

Вот тебе и весь сказ мой, отшельник, о том, как я утратил улучшение жизни и как нарушил обет, данный Богу.

Глава двадцать девятая

Ермий встал, протянул руку к своей козьей милоти и молвил скомороху:

– Ты меня успокоил.

– Полно шутить!

– Ты дал мне радость.

– В чем она?

– Вечность впусте не будет.

– Конечно!

– А почему?

– Не знаю.

– Потому, что перейдут в нее путем милосердия много из тех, кого свет презирает и о которых и я, гордый отшельник, забыл, залюбовавшись собою. Иди к себе в дом, Памфалон, и делай, что делал, а я пойду дальше.

Они поклонились друг другу и разошлись. Ермий пришел в свою пустыню и удивился, увидав в той расщелине, где он стоял, гнездо воронов. Жители деревни говорили ему, что они отпугивали этих птиц, но они не оставляют скалы.

– Это так и должно быть, – ответил им Ермий. – Не мешайте им вить свои гнезда. Птицы должны жить в скале, а человек должен служить человеку. У вас много забот; я хочу помогать вам. Хил я, но стану делать по силам. Доверьте мне ваших коз, я буду их выгонять и пасти, а когда возвращусь с

стадом, вы дайте мне тогда хлеба и сыра.

Жители согласились, и Ермий начал гонять козье стадо и учить на свободе детей поселян. А когда все село засыпало, он выходил, садился на холм и обращал свои глаза в сторону Дамаска, где он узнал Памфалона. Старец теперь любил думать о добром Памфалоне, и всякий раз, когда Ермий переносился мыслью в Дамаск, мнилось ему, что он будто видит, как скоморох бежит по улицам с своей Акрой и на лбу у него медный венец, но с этим венцом заводилося чуждое дело: день ото дня этот венец все становился ярче и ярче, и наконец в одну ночь он так засиял, что у Ермия не хватило силы смотреть на него. Старик в изумлении закрыл даже рукою глаза, но блеск проникает отовсюду. И сквозь опущенные веки Ермий видит, что скоморох не только сияет, но воздымается вверх все выше и выше – взлетает от земли на воздух и несется прямо к пылающей алой заре.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.